

# За пределами Любви

«За пределами любви» —  
это... литературная сенсация.

*Журнал «Акадо»*



## *Анатолий Тосс*

Анатолий Тосс

**За пределами любви**

«Анатолий Тосс»

2012

**Тосс А.**

За пределами любви / А. Тосс — «Анатолий Тосс», 2012

ISBN 978-5-905356-03-2

«Представьте, есть мир, в котором правит любовь. Она царствует в нем. Это вполне обычный мир, люди живут в нем своей обычной жизнью – ездят в транспорте, ходят на работу, покупают продукты, устраивают застолья. Но все перечисленное, как и вообще все, что происходит в этом мире, происходит по строгим законам любви. Потому что любовь правит в нем и не выпускает ничего из-под своего контроля. Все, казалось бы, не значащие действия, не имеющие значения события, – все они так или иначе связаны с любовью, и подчинены ей, и движутся во времени и пространстве только ради нее. Но есть и другой мир, тот, что за пределами любви. На первый взгляд, он ничем не отличается – в нем тоже ездит по улицам транспорт, и люди точно также работают, и так же устраивают застолья, может быть, не менее веселые и обильные. Вот только любовь в нем не правит. У всего, что происходит в этом мире, другая первопричина, другая природа и другие законы. Тоже разумные, порой, добродетельные, но к любви они не имеют отношения. Поэтому мир и называется: «за пределами любви». Там, кстати, тоже существует любовь, бывает, что чистая, бывает сильная, но она не правит миром. Иногда она важна, иногда даже драматична, но она – не закон. А раз не закон, то и не подчиняет. Так вот, миры эти граничат, и их жители могут перемещаться, переходить из одного в другой. И многие, особенно со временем, с возрастом переходят из мира, где правит любовь, в мир, который находится за ее пределами. Но тех, кто перешел границу, их назад уже не пускают. И получается, что все чувства – счастье, радость, страсть, ревность, ненависть – все те чувства, которые, так или иначе, связаны с любовью, все они остаются там, в том самом мире, где она правит. И недоступны уже из другого мира...» Книга представлена в новой авторской редакции.

ISBN 978-5-905356-03-2

© Тосс А., 2012

© Анатолий Тосс, 2012

## Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

72

## Анатолий Тосс

### За пределами любви

Ну что, надо как-то начать, знать бы только как. Как полагается писать для широкой публики, чтобы та читала захлеб, но при этом не захлебнулась? Понятия не имею! Никогда для широкой публики не напрягалась. Для узкой публики – да, дело было, но узкая публика специфична и давно привыкла к экстравагантности моего стиля. А тут вот подрядилась сгоряча создавать искусство для страждущих масс, а значит, ввязалась в абсолютно неведомый мне жанр. Одно дело, писать критические статейки для кучки яйцеголовых эстетов, другое – затеять возню с заведомой целью создать продукт массового литературного потребления. А я, похоже, совершенно не подготовлена к массовому потреблению ни физически, ни умственно. Тем не менее уговор есть уговор, писать придется, и надо бы с чего-то начать. Но с чего?

В принципе есть масса вариантов. Например, можно описать место, где разворачивается текущее действие, сделать такое, скажем, природное вступление: ландшафт швейцарский, горный. Озеленение – лиственное и хвойное, хотя в основном лиственное. Озеро тоже присутствует в непосредственном зрительном недалеке, ублажая и без того затуманенный от девственных прелестей взгляд.

Или почему бы не замолвить несколько теплых слов про наш отель – местную достопримечательность и гордость окрестных сельчан? Почему бы не намекнуть невзначай о пятерке звездочек на фасаде или не описать бассейн и загорелые девичьи выступления, мелко подрагивающие на швейцарском ветерке? Отчего это нынешние девушки перестали их прикрывать? На мой взгляд, врезавшаяся между половинками попки лоскутная ниточка – весьма никудышная защита. Да и что, в конце концов, скрывает она? Да и от кого?

Можете назвать меня старомодной, назовите хоть старухой, да при этом ядовито добавьте: «выжившая из ума», но я все равно останусь при своем, так уж меня нерадиво воспитали: умело прикрытое тело останавливает на себе заинтересованный взгляд и рождает помыслы куда как надежнее, чем тело заголенное. Как же нынешняя крепкополая молодежь такого простого правила не усвоила? Впрочем, бог с ними, со стрингами и топлесными бюстами, я ведь совершенно не про них.

Наверное, надо бы сказать что-нибудь про себя, в конце концов, я планирую быть главным персонажем предстоящего литературного опуса. Но про себя говорить как-то не скромно. К тому же я уже упомянула про «старуху», что чистая правда. Если же судить по тону моего изложения или, как говорят специалисты, по стилистической направленности, то чуткий массовый читатель легко разберется, что жизнь меня если и покинула, то не до конца и что есть еще мелкие радости, которые меня в ней привлекают. А это означает, что мой портрет пусть штрихом, но определен. Я вообще в вопросах изобразительных описаний минималистка.

Теперь следует рассказать, как именно я достигла договоренности с моим скучающим знакомцем Анатодем.

– Так давайте напишем книгу вдвоем, вместе, – сказал Анатоде, хотя энтузиазма я в его голосе не различила. Конечно, можно было предположить, что он расслаблен, но мне показалось, что он просто вял – взгляд вял, да и голос. – Давайте напишем, – повторил он без напора, – я как раз сюжет подыскиваю.

Но я не ответила. Пусть разовьет мысль, может, она ему пыла поприбавит. И он действительно стал развивать:

– Например, вы станете описывать нашу с вами жизнь в этом заторможенном швейцарском раю. А я буду рассказывать историю вашего детства, которой вы намереваетесь со мной

поделиться. – Он подумал и пожал плечами, как бы размышляя. – Может получится интересно – во-первых, в книге возникнут два различных голоса, два стиля, раз мы будем писать с двух рук. Ну, а потом я подозреваю, что ваша история окажется занимательной, ведь не каждая женщина признаётся в том, что убила человека.

– Двух, – вставила я.

– Тем более. К тому же признаётся практически постороннему.

– Ну ладно, – усмехнулась я, – вы же не пойдете докладывать обо мне властям. Да и кто ведаёт, в чьей мы власти? – Тут я, как и полагается, выдержала философскую паузу, скрасив её иронической улыбкой. – К тому же вам никто не поверит. Кто вы есть? Писатель, иными словами, человек с растревоженным воображением. Кто поверит, что пожилая дама, к тому же небезызвестная в интеллектуальных кругах многих европейских столиц, когда-то давно, почти девочкой, сознательно угрохала парочку весьма представительных мужчин? При этом одному из них снесла не только полчерепа, но и часть лица, представляете? С носом, щекой и верхней губой, которую он до этого постоянно растягивал в слегка снисходительной усмешке. Ничего, что я так подробно?

– Да нет, чем красочнее, тем лучше. Так как насчет книги?

Я улыбнулась. В общем и целом идея мне приглянулась. Конечно, я и без того занята собой без остатка – сауна, бассейн, массажи, фитнес, косметички, да и полуденные оздоровительные утехы с моим божественным Карлосом, да еще теннис, когда погода располагает. Но, подумала я, некое интеллектуальное разнообразие моему режиму не помешает, к тому же оно, говорят, тормозит наступление старческого слабоумия.

– Хорошо, – согласилась я, – только вот один вопрос, уважаемый господин сочинитель. Кто будет автором нашего совместного труда? Я имею в виду, чье имя будет значиться на обложке? Ваше, мое, нас обоих?

Его голубоглазое лицо тут жеostroило серьезную гримасу. Все-таки он зануда, подтвердила я давнее подозрение: стоит возникнуть практическому вопросу, как сразу соответствующая деловая маска, иными словами, скучнейший штамп. Надо бы почитать, что он там понаписал прежде.

Но с другой стороны, из кого мне выбирать? Не так чтобы вокруг меня топтались табуны предлагающих сотрудничество писателей. Вон обслуживающий персонал, он, конечно, топчется постоянно вокруг в томительном ожидании крупных чаевых. Да три-четыре старикашки, каждую неделю новые, тоже топчутся, пока не разберутся, что Карлос далеко не мой приемный внук. Ну и сам Карлос – тот тоже ежедневно топчется (простите за двусмысленность).

А вот из литераторов всего-навсего мой усталый друг Анатолий Тосс. Так что выбирать особенно не из кого, вот и не будьте, мадам, такой уж взыскательной, не пренебрегайте тем, что поблизости.

– Ну, мое имя будет обязательно, – легко поддался коммерческий Анатолий на мою невинную провокацию. – А ваше – как захотите.

– Да не захочу, – обрадовала я его. – Ни к чему мне авторство на старости лет. Не надо ни имени на обложке, ни портрета. Знаете, нет во мне тщеславия, может, и было когда-то, да все вышло давно.

– Как скажете, – он усмехнулся, кивнул. – В целом я уверен, что у вас отлично получится, язык у вас легкий, красочный, так что пишите, как чувствуете...

– Ну как же, – возразила я, – все-таки наверняка существуют какие-то законы жанра, как-то все надо расставить по местам: мизансцену, авансцену, героев, в смысле нас с вами, последовательность событий, диалоги, монологи, описания... в общем, не знаю.

– Не волнуйтесь, – перебил меня настойчивый Анатолий, – все само расставится. А жанр? Я ведь даже не знаю, о чем она, ваша история. Догадываюсь, что в ней присутствует детектив-

ный сюжет, но вот что еще? – Он пожал плечами. – Не просто ведь из любви к огнестрельному оружию вы лишили человека жизни? Что-то же послужило причиной?

– Конечно, послужило, – легко согласилась я. – И несложно предположить, что именно. Ну-ка, догадайтесь, что может свести вместе пятнадцатилетнюю девушку, нешуточно заряженный револьвер и лоб взрослого, слишком уверенного в себе мужчины?

– Любовь, секс? – предположил Анатолий.

– Пусть так, – согласилась я. – Хотя, забегаая вперед, скажу вам, мой друг, что все куда как запутаннее.

– Тогда начинайте рассказывать.

Нет, нетерпеливый мой соавтор, серьезный рассказ требует серьезного настроения. К тому же меня ждет турецкая баня, с не турецким, но все равно умелым банщиком, с мягкими, знаете, такими мучными руками. Я ведь дама хоть и преклонных лет, но все еще тяготеющая к мелким удовольствиям. Не утратила до конца радости к жизни. Так что придется потерпеть до завтра.

И я встала и направилась в сторону здания, хранящего мраморный жар турецкой бани в самой сердцевине Швейцарских Альп.

И вот вечер, я сижу и пишу. Но как-то не так, неправильно. Как-то кусками, отрывочно. Нет чтобы все подробно описать – откуда взялся Анатолий, как он выглядит, где происходит наш разговор, что мы при этом пьем, как одеты. То есть описать все подробненько, в соответствии с правилами классической литературы.

Да и почему я открылась Анатолию, поведав, как с незатейливой легкостью прострелила навывлет одного крайне важного персонажа из своей молодости? Получается, что причина чистосердечного признания осталась за кадром и моему будущему читателю сия внезапная откровенность покажется совершенно необъяснимой.

А потому все надлежит переписать так, чтобы получилось детально и толково. Да и взятый мною тон слишком уж легкомыслен, к тому же не соответствует образу. Сами посудите – крайне пожилая, весьма обеспеченная, утонченная, неплохо образованная дама, а излагает откровенно развязно. Нет, мне полагается изъясняться солиднее и сдержанней, ну да, именно посуше. Ведь литературный талант как раз и заключается в том, чтобы автор вышел за пределы собственного «я». Во всяком случае, так считается. Во всяком случае, мне так говорили. Вот и следует мне проявить литературный талант. Ау, талант, где ты?

Ладно, хватит дурачиться, попробую по-другому.

Мы сидели за столиком открытого кафе; широкий, в желтую полоску зонтик нависал над нами, прикрывая от не такого уж жаркого, но тем не менее слепящего солнца. Внизу, далеко в долине, замер игрушечный городок, как будто кто-то щедрым взмахом рассыпал как попало аккуратные белые домики и прочертил, возможно и пальцем, извилистые, но гладко накатанные дороги, расставив по обочинам крошечные, едва приметные автомобили.

Наш столик со вскинутым стоймя гигантским медузообразным опахалом, как и прикинувшее к нему кафе, как и сам отель с краснокожими от засохшей глины теннисными кортами и искрящимся от солнечных бликов бассейном, без которых пятая звезда на фасаде была бы обидной фикцией, расположился как раз посередине – между провалившимся до самого земного основания городком и нависшими, казалось, находящимися в постоянном движении вершинами гор.

Я вообще никогда не могла осмыслить их неподвижность, в моем представлении они должны были если не придвигаться друг к другу, рискуя раздавить городок под собой, то хотя бы кружиться в хороводе, пытаясь поменяться местами. Ведь признать их недвижимость означало бы признать саму идею вечности, что, во всяком случае, мне представить совершенно невозможно.



Тем не менее за четыре года, что я прожила здесь, в этой живописной глуши, я никакого движения ни у оснований, ни у вершин гор так и не заметила, хотя все еще не потеряла надежды, и поэтому каждое утро примеривалась взглядом – как там, не произошло ли за ночь какое-нибудь геометрическое изменение?

Так вот, мы сидели за столиком, передо мной стоял бокал «Шато де Пеньер», перед Анатодем в тяжелом, низком стакане покоился гладкой поверхностью скотч. Насколько я понимаю, он предпочитает «Single Malt»<sup>1</sup>.

Анатоде рассеянно глядел по сторонам. Да и чего ему было искать на моем лице, разве что пересчитывать морщины, втиснутые в дряблость блестящей от крема кожи. Во-первых – небольшое удовольствие, а во-вторых – поди-ка пересчитай их все.

Я не раз намеревалась сделать подтяжки, все эти новомодные косметические вмешательства в кожную поверхность с использованием шприцев, щипцов и прочих холодных хирургических инструментов, даже консультировалась у специалистов. Но когда узнала, что в процессе операции они полностью отделяют лицо от принадлежащей ему кожи, а значит, в наркотическом затмении я буду светить окружающим своей розовой мясной оболочкой, развлекая подкожной анатомией... Тут же мое эстетическое достоинство отвергло процедуру жестокой операции. В конце концов, рассудила я, не перестанут же мои латинские мальчики любить меня? К тому же что им мои морщины? Они ведь не за плотью моей устремлены.

Я вообще порой удивлялась – особенно по утрам, разглядывая себя в зеркале: ну как они могут трогать, ласкать, целовать это усталое, высохшее, а лучше сказать – вялое тело, за которым мне и самой-то не слишком приятно ухаживать? Но мне-то от него никуда не деться, оно – моя пожизненная обязанность, с ним я успела смириться за время неспешного старения. А им-то зачем?

Взять, например, моего нынешнего прекрасного Карлоса, ведь как искренне у него все это получается – чувственно, с прерывистым дыханием, с трепетом в членах. Поначалу он норовил закрывать глаза, мол, я так улетаю, что белый свет не мил, но я ему запретила, пусть смотрит, гаденыш. Мне всегда нравилось, когда на меня смотрят, особенно если такими, как у него, глазами, дымчатыми, с поволокой, с миндалевидным, чуть-чуть азиатским разрезом.

– Мсье писатель, – обратилась я к Анатоде, – скажите, только не лукавьте, не бойтесь обидеть вашу приятную собеседницу. Вы могли бы заниматься со мной любовью, пусть даже неискренней и пусть даже без самозабвения? Только, повторяю, будьте откровенны.

Он оторвался от окружающей горной красоты, направил на меня свой светлый, равнодушный взгляд, задержал его, ясное дело, оценивая мои увядшие подробности, а потом спросил:

– Вы и вправду ждете откровенный ответ?

– Исключительно, – потребовала я.

– Тогда – не смог бы.

– А за деньги? – Это становилось забавно.

– Вы же знаете ответ.

– А за большие деньги?

Если бы он спросил, что значит «большие деньги», я бы не смогла ответить. Действительно, сколько можно заплатить за сеанс любви? Ведь все равно не заплатишь столько, чтобы изменить жизнь человека, если он не голодает, конечно. Хотя какой там сеанс любви с голодающим? Я бы с голодающим не смогла – несмотря на все свои пороки, я сострадательна и наверняка бы для начала накормила беднягу.

– Я вполне обеспечен, – отказался он по-другому.

– Ну, а если бы вы были бедны? – не отставала я.

---

<sup>1</sup> Один из способов приготовления шотландского виски.

– Да к чему я вам, Кэтрин? – Он усмехнулся. – По сравнению с вашим Доном Карлосом я седеющий мужичок, годящийся ему в папаши.

– Ну, не скромничайте. Вы вполне привлекательный, и поверьте мне, я в этом разбираюсь, вы не были обделены женским вниманием ни прежде, ни теперь. А по поводу возраста вы просто непорядочно кокетничаете. Да и при чем тут вообще мой Карлос?

– Сколько ему лет? – спросил Анатоль.

Я посмотрела в сторону бассейна и, конечно, сразу же увидела своего латинского красавчика, лежащего рядом с эффектной белокурой девицей и что-то нашептывающего ей на ушко. Ничего, подумала я, даже хорошо, пусть мальчик поднаберется позитивных впечатлений и настроится на предстоящую подневольную обязанность.

– Кто его знает, – неуверенно призналась я, – разве ж он правду скажет? Говорит, что девятнадцать.

Анатоль тоже обернулся к бассейну и теперь вместе со мной разглядывал смуглое стройное тело, вытянутое на тонком синем пляжном матрасе.

– Ему, похоже, и есть девятнадцать. Так что я вполне мог его родить, в смысле – зачать по молодости.

– Да, перестаньте. – Я поморщилась. – С учетом того, что я вполне могла родить вас, как вы сказали, по молодости, получается, что Карлос легко сойдет мне за внука. – Я не смогла удержаться от смеха. – Зачем вы внушаете мне эту болезненную мысль? Теперь она наверняка будет преследовать меня и мою незамутненную сексуальную жизнь. Единственная надежда, что к вечеру я все забуду по причине подступающего старческого склероза.

Анатоль снова усмехнулся, но так ничего и не сказал.

– Вы знаете, – я даже стушеввалась, – я ведь совсем немного ему плачу. Конечно, он живет на полном моем содержании, но это ведь ерунда, а так, наличными, – очень немного. Не понимаю, зачем ему надо, да и тем, что были до него, удовлетворять взбалмошную старуху. Я ведь, знаете, Анатоль, взбалмошна.

– Догадываюсь, – ответил он меланхолично, все так же озираясь на горные вершины.

– Нет, правда, зачем? Торчать в этой дыре, исполнять мои капризы, и чего ради? Неужели ради того, чтобы просто пожить в приличных условиях?

– Ну почему же? Здесь стимулы не материальные, скорее психологические, – оживился мой собеседник. – Ваш верный Карлос с вашей помощью прикоснулся к миру денег и привилегий, во всяком случае, так он его себе представляет. Хорошая одежда, официанты за спиной, ухоженные белые девушки в бикини, иными словами – причастность к красивой жизни. Такое стоит трудов. К тому же, насколько я понимаю, для него и не такие уж особенные это труды.

– Но вы же отказались? – напомнила я защитнику сексуального неравенства.

– При чем здесь я? Я из другого мира. – Он пожал плечами.

– И где он находится, ваш мир? – поинтересовалась я.

– Да какая разница?.. – Его взгляд снова наполнился безразличием.

– Говорил ли вам кто-нибудь, милый мсье Анатоль, – возмутилась я, – что вы крайне таинственны? За неделю нашего знакомства я задала вам с десяток вопросов, пытаюсь узнать про вас хоть что-нибудь, но вы небрежно от них отмахнулись. Я по-прежнему в полном неведении: кто вы, откуда? Я даже ваш акцент не могу распознать. Мне только известно, что вы пишете книги, да и то с ваших слов. Вы мне вообще подозрительны. В том смысле, что я вас подозреваю.

Тут я окинула его пронизательным взглядом и развела недоуменно руками.

– Ну правда, что вы тут делаете уже почти две недели один-одинешенек, без знакомых? По окрестностям не гуляете, с местными достопримечательностями не знакомитесь. Иными словами, вы, Анатоль, весьма нетипичный курортник. А скорее всего не курортник вовсе. Ну а так, как я, жить здесь годами, стать, как это называется, постояльцем... Какое все-таки жуткое

слово «постоялец», вы не находите? – Он промолчал, и я продолжила: – Нет, на постояльца вы не похожи, возраст не тот, да и Карлоса вы с собой не прихватили. Потому что у каждого здесь должен быть свой собственный Карлос. Или своя, в конце концов.

Анатолий улыбнулся, хотя на меня по-прежнему не смотрел; взор его, ничем не обремененный, блуждал по горным склонам. Либо по долинам, я за взором не следила.

– А без Карлоса, – продолжила я, – или без его женского аналога только на белесых приезжих барышнях здесь долго не продержаться. Даже если каждую неделю в Цюрих мотаться или в Париж. Вот и получается, что вы и не курортник, и не постоянный житель нашего опрятного заведения.

Я кивнула в сторону белого здания с зелеными кокетливыми балкончиками. Кто мог построить такое убожество? Не понимаю. И почему я живу в этом оскорбительном архитектурном недоразумении? Тоже не понимаю.

– К тому же я выяснила, у меня со здешней администрацией сложились весьма доверительные отношения: вы продлеваете бронь каждые три дня.

Ну наконец-то он оторвался от природы и посмотрел на меня, похоже, удивленно. Нет, наверняка удивленно.

– А что вы думали, – развела я руками, – чем еще может тешить себя преклонных лет женщина, если не слухами и сплетнями о вновь прибывающих постояльцах? Итак, вы продлеваете бронь каждые три дня. А значит, находясь здесь, вы чего-то ожидаете. Или кого-то? Кого? Чего? Давайте признавайтесь.

– Я не ожидал такого пристального внимания к своей скромной персоне, – признался Анатолий.

– А напрасно, – заметила я с укоризной. – И вот мой вывод: вы от кого-то скрываетесь. Ну сами посудите, какого рожна вас занесло в Швейцарию, да еще в такую глушь? Здесь на десятки километров – ни полицейского, ни других представителей и без того либеральных властей. Да и для чего им тут быть, здесь вообще ничего никогда не происходит. Так что выбор ваш я одобряю: наша живописная долина – лучшее место спрятаться на время от чужих глаз. Никому и в голову не придет здесь вас искать. А теперь слушайте мою версию.

– У вас уже и версия наготове? Интересно, интересно, – живо отозвался Анатолий. Именно живо, а значит, я все-таки ухитрилась вывести его из обычного вялого безразличия – вон как сразу засветились глаза.

– Я полагаю, что вы кого-нибудь убили! – начала я с наиболее насильственной версии.

Он даже присвистнул от неожиданности. Может, я действительно переборщила? Но что же теперь делать, не на попятную же идти? И я продолжала:

– Итак, вы от кого-то скрываетесь. Это мы уже установили. Давайте вместе подумаем: от кого и почему?

– Давайте, – согласился Анатолий.

– Вы не уголовный типаж. Значит, преступления типа грабежа или кражи со взломом мы сразу отменяем. Что остается? Либо мошенничество в особо крупных размерах, либо убийство. Но вы же не банковский клерк, сидящий на мешках с деньгами. Вы даже не финансовый махинатор. Конечно, крупное мошенничество полностью исключать не следует, вы могли разработать какой-нибудь замысловатый планчик и, тщательно подготовив – вы же человек дотошный, его осуществить. Могли, конечно, но вряд ли. Не думаю. Вы не тот типаж, который будет рисковать ради денег. Ради денег рискуют либо идиоты, либо патологические авантюристы. Хотя идиотов, конечно, значительно больше.

– Вы уже и мой типаж определили, – покачал Анатолий головой.

– А как же? Да и что там типаж? – пожала плечами я. – Типаж – это проще простого. Типаж – это еще не индивидуальность. Ну что, продолжать, вам интересно?

– Да-да, – кивнул Анатолий.

– И тут всплывает главное: вы человек, который пишет книги. А для людей, которые склонны к усидчивости, сосредоточенности и одиночеству, я таких повидала на своем веку немало, деньги не главное. Им важно другое.

– Что же? – снова поинтересовался мой подозреваемый.

– Им важен контроль.

– Контроль? – переспросил Анатолий.

– Конечно. Контроль над другими людьми, контроль над жизнью, над событиями. Что может быть приятнее, чем руководить людьми, руководить жизнями, которые они проживают? Это ведь игра ума. А для вас, для творцов, постоянно придумывающих сюжеты, игра ума первостепенна, для вас нет ничего слаще, чем смешать реальность и мир выдуманный, существующий лишь в вашем воображении. И когда смешение происходит, вы воцаряетесь над ним, манипулируя, заставляя ближних следовать вашим желаниям, будто они персонажи ваших произведений. А вы говорите – деньги. Вы понимаете меня?

– Конечно, понимаю, – согласился притихший от моего натиска Анатолий. – Более того, полностью согласен с вашим тонким анализом. Но, знаете, слушая ваше запальчивое рассуждение, я, в свою очередь, заподозрил, что оно не только умозрительно. Что с вами нечто подобное происходило, не так ли?

«Запальчивость? Какая запальчивость? – подумала я. – Кто запальчив? Я? Неужто? Запальчивость нам абсолютно ни к чему».

– Давайте сначала закончим с вами, – легко ушла я от ответа. – Итак, я полагаю, что вы умертвили вашего персонажа, забыв ненароком, что он не из выдуманного вами мира, а из реального. То есть предположим, что был персонаж, скорее всего женщина. Такие, как вы, со светлым пронзительным взглядом, обычно выбирают для своих манипуляций особей противоположного пола. Значит, женщина. Прошло время, и вы ввели ее в свой воображаемый мир, слив его с настоящим. И пока она пребывала в разведенной вами смеси, вы управляли ее движениями. Не только тела, но и ума, и души.

– Я у вас просто злодеем каким-то получаюсь, – попробовал отшутиться Анатолий, но неудачно. Я даже не отвлеклась.

– Но пора переходить к коллизии. В один прекрасный день персонаж вдруг приходит в себя и понимает, что, помимо выдуманного вами мира, существует и другой, реальный, в котором тоже неплохо было бы пожить. Иными словами, ваша героиня выходит из-под контроля. Но как сюжет может восстать против своего создателя? И что делает автор, когда персонаж плохо поддается дальнейшему описанию или когда его линия в произведении закончена? Как правило, одно и то же: автор ликвидирует его, либо сбрасывая в шахту лифта, либо устраивая ему автомобильную катастрофу, либо еще как-то. Способов множество. Вот и вы умертвили свою героиню. Я права?

– Послушайте, вы не только проницательны – вам не чужд психологизм. У вас получились бы отличные детективные романы с психологической нагрузкой. Вы никогда не пробовали писать?

– Не сбивайте меня. Вы льстите мне с очевидной целью – вы пытаетесь меня сбить. Но вам не удастся. Итак, подведем итог нашему криминальному разбирательству – у вас была женщина, ее жизнь проходила под вашим контролем. Не знаю почему, но однажды она попыталась из-под него выйти. А вы не смогли признать ее независимость. Обычно в таких ситуациях говорят об «измене». Так как любая измена, не важно, с кем или с чем, уменьшает зависимость и выводит из-под контроля. Ведь «измена» – это прежде всего «изменение».

– Мне нравится такая аналогия, – восхитился мсье Тосс. – Переход от частного исследования к общечеловеческим понятиям. Вам свойственна не только проницательность, но и глубина. Нам надо написать с вами что-нибудь совместное, что-нибудь психологическое, криминальное. Как вам такое предложение?

– Хорошо, хорошо. Когда вас посадят за убийство, я обещаю, что буду вас навещать, я ведь сердобольная, хотя посторонние об этом не догадываются. Карлос будет нести лукошко с булочками, вареньем, яйцами, с чем там еще полагается... с табаком... Идиллическая такая картинка.

– Я не курю, – заметил будущий заключенный.

– Ничего, в тюрьме придется многому научиться, – не без оптимизма предположила я. – Так вот, во время наших встреч мы будем плодотворно трудиться над совместным творением. Но сейчас я должна закончить разоблачение.

Тут я неторопливо сделала глоток из бокала.

– Заканчиваю: вы убили эту женщину. Конечно, не сами, не топором зарубили, как какой-нибудь примитивный персонаж Достоевского. А хитро подстроили, как в хорошо закрученном детективе, так что и концов не найти.

– Зачем же мне прятаться, если концов не найти? – задал разумный вопрос Анатоль.

«Действительно, зачем? – подумала я. – Ах да, ну конечно».

– Да потому, что вы человек осторожный, на самотек ничего не пускаете, вот и решили уйти на дно, подождать, пока все успокоится. Или нет, не так. Ее, обреченную вами на заклание женщину, сейчас, в эти дни как раз и убивают. Конечно же, не вы сами, кто-то другой, профессионал. А вам требуется примитивное алиби, потому вы и покинули место преступления. Вас там нет, вы в альпийском высокогорье развлекаетесь беседами с пожилой, скучающей любительницей домислов и предположений. Видите, как все просто. Ну, давайте признавайтесь. Да не бойтесь, я на вас доносить не буду, творите себе на воле, здесь более живописно. Хотя в тюрьме, – я улыбнулась, – больше свободного времени, да и дисциплины, да и новые ощущения. Ну так как, я правильно вас разгадала?

Анатоль помолчал, покачал головой, затем решил все же сознаться:

– Несмотря на то что ваше дознание мне доставило удовольствие, я должен вас разочаровать: я никого не убивал и никого не заказывал. Более того, я в жизни никому не желал зла. Я вообще безобидный, беззлобный человек.

– Тогда вы наверняка пишете плохие романы. Писатель, как говорят, должен быть злобным, едким, раздражительным мизантропом.

– Кто говорит? Не знаю. Нет, я не злой и, как правило, не раздражителен. Я спокойный.

– А что же вы здесь делаете, в нашем пансионате, в таком случае? – ухватила я за последнюю ниточку.

– Ищу тему. Я три месяца назад закончил свой последний роман и теперь ищу тему для нового. Я всегда так поступаю: уезжаю куда-нибудь, где нет знакомых, чтобы отвлечься, чтобы остаться с собой наедине.

– Так что же получается, – протянула я разочарованно, – вы никого не убивали?

– Нет, никого. – Анатоль покачал головой.

– Жалко. Даже не потому, что я ошиблась в выводах, а потому, что вы оказались скучным, заурядным, как вы сами сказали, беззлобным человеком. Ни тайны, ни загадки. Скучно.

– А вам только убийство подавай, – засмеялся Анатоль.

– А про что еще наша жизнь? Про любовь, про вожделение, про страсть, про тщеславие, амбиции и связанную с ними смерть, – высокопарно заметила я. – И что, вам действительно никогда никому не хотелось убить? Неужели существуют люди, которым никогда не хотелось убить?

– А вам? – не ответил на вопрос Анатоль.

– Мне? – Я задумалась. Даже не над тем, говорить ли правду, я уже решила, что скажу. Я задумалась, потому что мне требовалась пауза, я не могла позволить признанию в первый раз покинуть мою исковерканную душу на фоне беспечной, ничего не значащей болтовни.

Пауза разрасталась и повисла, но я не прерывала ее. Не прерывал ее и Анатоль.

– Я? – произнесла я и снова задержалась в рассчитанной паузе. – Я когда-то давно убила человека. Даже не одного, а двух.

Я оглушила его, знала, что оглушу. Он так и сидел, оглушенный. Молчал, смотрел на меня, ища, видимо, что-то в глубине моей души. Но что он мог там найти? Ничего. Там давно уже было пусто!

– Вы шутите, – наконец-то вырвалось у Анатоля.

Но я не шутила.

– Нет, – ответила я, – нисколько. И вы первый, кому я призналась. Не спрашивайте, почему именно вам, я не дам четкого ответа. Скажем, мне давно пора было кому-нибудь все рассказать. Почему бы не сейчас? Почему бы не вам? К тому же вы – в поисках сюжета. Из моей истории получится замечательная книга, целый роман. И представляете, я готова вам ее поведать, всю, без утайки. Вот только история длинная и мой рассказ займет несколько дней, с учетом того, что я смогу вам уделять не более часа в день. Я, видите ли, ужасно занята, мсье неудавшийся заключенный.

– Подождите. – Наконец он пришел в себя. – Если вы не шутите – а судя по тому, как изменилось ваше лицо, вы не шутите, – давайте напишем вашу историю совместно. Вы будете описывать нашу повседневность, наши беседы, вот, например, наш сегодняшний разговор. Вам и придумывать ничего не потребуется, придерживайтесь собственной манеры речи – она у вас яркая. А я буду описывать вашу историю, ту, которую вы мне расскажете.

Я пожала плечами:

– А если моя история в результате вам покажется неинтересной?

– Ну что же, тогда не получится. Хотя мне кажется, она оправдывает ожидания, а возможно, и превзойдет. По тому, как вы провели расследование моего неслучившегося преступления, видно, что материал вам знаком, что нечто подобное происходило с вами прежде. К тому же вы хорошо чувствуете жизнь. – Я кивком поблагодарила за комплимент. – Давайте соглашайтесь, – продолжил он, – может получится занимательная книга, поверьте, я в этом разбираюсь.

Я посмотрела на мсье сочинителя, потом перевела взгляд на горы, на самые их вершины, туда, где они касаются неба. А действительно, подумала я, почему бы моему детству не стать достоянием широкой читающей общественности?

– Ну что же, – согласилась я. – Давайте обсудим детали...

Вот я и закончила вступление. Перечитала созданное кропотливым вечерним трудом (даже Карлосу выделила отгул, вы бы видели, как он обрадовался подарку), что-то подправила, но немного. Осталось добавить записочку мсье Анатолю. Итак, пишем в скобках:

*Любезнейший господин Тосс! Вот вам два различных вступления, выбирайте, какое понравится. Можете править и менять, что пожелаете и как пожелаете. Полностью полагаюсь на вашу совесть и честь и отдаюсь им беспрекословно.*

*Ваша литературная подельница Кэтрин.*

*P.S. Завтра в полдень буду ждать вас на веранде. Не опаздывайте, у меня в два часа сеанс парного тенниса.*

Теперь вызовем портье и попросим его передать распечатанные странички непосредственно в номер господина главного редактора.

\* \* \*

Когда Элизабет Бремаи появилась на свет, ее родители были еще совсем молоды. Мать, которую звали непривычным для выходцев из Англии именем Дина, в возрасте девятнадцати

лет безумно влюбилась в порывистого юношу с одухотворенным лицом, который был всего несколькими годами старше ее. Первая любовь, в данном случае не повлекшая за собой разочарований, обернулась взаимностью, и после года тайных встреч молодая пара открылась родителям, а те, несмотря на смешанные чувства относительно слишком раннего, по их мнению, брака, все-таки благословили детей.

Дина Бремман, в девичестве Лингман, выросла романтической, образованной девушкой в богатой и родовитой семье. Ее дед, крупный промышленник, во времена индустриализации американского Севера активно участвовал в политическом процессе страны, финансируя предвыборные кампании своих друзей, сенаторов от демократической партии, и даже сам подумывал о политической карьере, которую, впрочем, так и не начал. Однако его сын, отец Дины, активно увлекшись биржевыми инвестициями, несколько раз вкладывал деньги в слишком рискованные предприятия и уже к двадцатым годам двадцатого века потерял большую часть унаследованного состояния. Депрессия тридцатых годов довела процесс разорения до логического конца, и вскоре семья вынуждена была продать свой «brownstone»<sup>2</sup> в Манхэттене и переехать в небольшой городок в штате Нью-Йорк, в ухоженный, но по их прежним понятиям достаточно скромный дом. Там, собственно, и прошла юность Дины, там она впервые встретила своего будущего мужа и, как уже было сказано, страстно влюбилась в него.

Отец Дины так никогда и не оправился от чувства вины перед женой, дочкой, но прежде всего перед отцом. Он до самой смерти не мог простить себе даже не то, что потерял созданное отцом дело, да и деньги вместе с ним, а значит, и благополучие своей семьи; ему не давал покоя тот факт, что отец оказался значительно удачливее, чем он сам, а значит, и способнее.

Иными словами, то навязанное ему с детства соперничество с отцом, соперничество, результат которого выявляется только в конце жизни, когда подводится окончательный итог, то соперничество, на которое он никогда бы не решился по собственной воле, но в которое жизнь хочешь не хочешь, а вовлекла его, он безоговорочно проиграл.

В конце концов он полностью уверился в своей бессилии, но не запил и не опустился, как часто бывает, а благодаря хорошему образованию и влиятельным родственникам получил неплохо оплачиваемую работу в крупном банке, куда и ездил ежедневно много лет – без энтузиазма, но и без раздражения, скорее по инерции.

Собственно, он сам привел своего будущего зятя, пригласив однажды в гости сослуживцев, а в их числе только лишь закончившего колледж молодого, жизнерадостного, несколько поверхностного, но тем не менее способного и многообещающего молодого человека. После того как Сэмюэл – так звали будущего отца Элизабет – встретил Дину, он стал часто бывать в доме, и, как уже было сказано выше, отношения между девушкой и молодым человеком скоро вышли из-под контроля и без того не очень бдительных родителей.

После свадьбы молодая семья сняла небольшую квартиру неподалеку от родителей жены, а когда через два года отец Дины, а еще через год мать отошли в мир иной, Дина с мужем и уже годовалой Элизабет перебрались в теперь уже свой собственный дом.

Если не считать траура жены, которой Сэмюэл искренне сопереживал, дела у него шли на редкость удачно. Будучи приятной внешности, с мягкими чертами лица и стройным тренированным телом, он, помимо прочего, обладал (или производил впечатление, что обладает) немного ветреным, бесшабашным характером, иными словами, харизмой, за что, собственно, и был вознагражден не только благосклонностью начальства, но и преданной любовью своей жены.

---

<sup>2</sup> Brownstone – общее название построенных из коричневого камня или кирпича домов, типичных для Манхэттена, Бостона и других городов северо-восточного побережья США.

Сэмюэл производил впечатление человека, которому все дается легко, впрочем, так оно и было, видимо, он также был наделен и определенными способностями, весь арсенал которых демонстрировал не сразу, а скорее постепенно, удивляя в очередной раз и своих подчиненных и начальников. Со временем он получал все более сложные задания и к моменту рождения Элизабет был, несмотря на молодые годы, руководителем крупного подразделения в инвестиционном отделе банка.

Тем не менее работа не требовала от него отречения от всей остальной жизни, он по-прежнему проводил много времени с семьей, с красивой, нежной женой, которую боготворил, и с чудесной маленькой девочкой, похожей как две капли воды на свою мать.

Кроме того, у него были увлечения и другого рода: он, например, обожал лошадей и оказался неутомимым наездником, но самой большой его страстью было воздухоплавание. Чуть ли не каждое воскресенье семья приезжала на небольшой частный аэродром, расположенный милях в двадцати от города, и пока Дина с дочкой завтракали в кафе, с веранды которого просматривалось взлетное поле, Сэмюэл нарезал круги в двухместном «Cessna»<sup>3</sup>, иногда удаляясь настолько, что самолет терялся из виду, но обязательно возвращался, помахивая крыльями, как бы приветствуя тем самым жену и замороженно глядящую в небо дочурку.

Постепенно совершенствуясь в технике пилотажа, Сэмюэл научился ориентироваться по приборам и мог летать после захода солнца и в пасмурную погоду, нередко беря с собой пассажира – кого-нибудь из друзей, кто хотел насладиться острыми ощущениями, либо своего брата. Тот был младше на три года и стремился во всем подражать Сэмюэлу, а потому с восторгом принимал участие в полетах. Вот так однажды, улетев в сторону Новой Англии, они оба разбились, попав ночью в грозу.

Элизабет было тогда четыре года, почти пять, и она не помнила ни ночного телефонного звонка, ни сначала встревоженных, а потом заплаканных глаз матери, ни сразу осунувшегося ее лица. Осталось лишь ощущение непривычной суеты в доме, появляющихся и быстро исчезающих людей, некоей странной торжественности, мужских широких, теплых ладоней, гладивших ее по голове.

Потом она поняла, что отца нет рядом. Она спросила мать, где он, и та ответила, что его больше не будет никогда. Не то что Элизабет не знала слово «никогда», и не то что она не поверила матери, просто она была уверена, что отец затеял с ними очередную игру и в самый непредвиденный момент вдруг откроется дверь и он обязательно появится. Потому что как же может быть иначе?

И только когда прошли год, потом два, а отец так и не вернулся, Элизабет свыклась с мыслью о том, что его больше нет, и теперь даже сомневалась, а был ли он когда-нибудь вообще. Нет, что-то, какой-то неуловимый осадок, даже не воспоминание, а чувство он оставил в ней навсегда. Но откуда это чувство появляется и где в результате заканчивается, как его отделить от всех остальных чувств, да и как из него выделить облик, улыбку, запах, теплоту, заботливую силу, с которыми в ее уме ассоциировался отец, – этого она не знала. Да и что она помнила о нем? Так, три-четыре помутневших от времени взгляда, напряженных, остановившихся, отпечатавших в ее детском сознании расплывчатые, похожие на фотографические снимки переплетения цветных теней, которые и были, оказывается, ее отцом. Один из них она чаще других вытягивала из потаенного уголка памяти.

Она спала на застекленной веранде. Видимо, стояла либо поздняя весна, либо раннее лето, иначе откуда столько рассыпчатого света проникло через ее прикрытые ресницы – так много света, что ничего не оставалось, как поддаться его настойчивости и разомкнуть веки и тут же

---

<sup>3</sup> Марка частного самолета.



ослепнуть от вспышки яркой солнечной белизны. Именно на несколько мгновений ослепнуть, засорить глаза крупитчатой световой пылью, которая несла в себе еще и запах врывающегося на веранду сада с его влажной листвой, сочными цветами, тяжелыми, неподвижными пчелами, а еще растворенную в той же яркости дымчатую, нарезанную на слои голубизну непостижимо доступного неба.

И лишь потом из белого, искрящегося, все смешавшего на себе полотна стали выделяться очертания комнаты: стол в углу, накрытый светлой в желтую полоску скатертью, такой же светлый невысокий шкафчик у стенки, косяк двери, тоже неотличимо белый, да и сам дверной проем, в котором она увидела отца. Вот таким она его и запомнила, она могла бы его нарисовать – никогда не рисовала, но была уверена, что могла бы: песочного цвета узкие брюки, распахнутый ворот рубашки, незастегнутый пиджак тоже песочного света, видимо, он только вернулся с аэродрома. Но главное – она запомнила лицо, хотя непонятно, как ей удалось его разглядеть – ведь все детали до сих пор были не просто сглажены, а растворены в нескончаемой яркости рвущегося на веранду дня.

И тем не менее она запомнила полное юности лицо, даже не само лицо, а легкую, веселую энергию, которую оно излучало. Он был красив, ее отец, особенно тогда, в дверном проеме террасы, он был почти нереален в огибающем его воздушном нимбе, как было нереально ее детство. Собственно, память ухватила лишь мгновение: вот ничего не было – и вдруг появилось, а вот опять ничего не осталось. Лишь кадр, отпечаток, фокус зрачка.

Было и еще одно воспоминание. Позднее утро, двор, нянька наблюдает за ней, сидя в шезлонге, Элизабет просто играет, копает что-то в песке совочком, она не помнит деталей, она скорее их восстанавливает, строит мизансцену, создает рамку вокруг единственной сохранившейся картинке. Вроде бы она весела и в то же время беспокойна, что-то отвлекает ее, она нервничает, сама не знает почему и в то же время знает: она ждет родителей, их нет, хотя уже должны были вернуться. Чем дальше, тем минуты тянутся медленнее, как будто закручивается часовая пружинка, и Элизабет ощущает ее натянутую, нервную возбужденность.

Отсюда и поднимающееся к самому горлу беспокойство. Она все время глядит на дорогу, она уже не может играть, хоть и пытается, но ей сложно, почти невозможно отвлечься от мысли, что она одна, оставлена, может быть, брошена навсегда, насовсем. А что, если с мамой и папой что-то случилось, ведь они же обещали приехать и не приехали?

Она уже готова заплакать, уже слезы совсем близко, где-то в горле, даже выше, им совсем немного осталось добежать до глаз. Но тут она видит быстро катящийся по дороге знакомый автомобиль, настолько знакомый, что не нужно догадываться, чей он и кто внутри. Вот он вкатывает во двор и останавливается у самого дома. Собственно, на этом обрамление картинке и заканчивается, и взгляд останавливается на том единственном сохранившемся кадре.

Отец вместе с матерью. Она в светлом платье, держит его под руку и как бы притянута к нему. Будто некий мощный магнит клонит ее голову, плечи в сторону мужа. А лица их излучают счастье. Вполне ощутимое, которое не спутаешь ни с каким другим чувством, и наверняка можно было бы собрать какой-нибудь нехитрое устройство, некий приемник, который зарегистрировал бы зашкаливающий поток счастья, исходящий от этих двух таких родных, до комка в горле, до гусиной кожи людей.

И тогда, еще совсем маленькой девочкой, Элизабет сразу ощутила притягивающую силу родительской любви и поддалась ей, и рванулась, раскинув в воздухе свои ручки, и врезалась в них так, чтобы оказаться посередине, чтобы сразу обхватить их обоих – и папино колено, и маму, смяв, запутав ее платье. И, спрятав личико куда-то между ними, наверное, от стыда, чтобы не было видно ее раскрасневшегося, взволнованного от причастности к чему-то, чего она не могла понимать, лица, она замерла.

Именно эту секунду она и сохранила в себе, когда она перестала быть собой, а оказалась лишь частью, как ей тогда казалось, чего-то единого и неразделимого, что не должно кончиться никогда, что всегда предохранит и обережет.

Потом она, конечно, много раз чувствовала сопричастность с другими людьми, которых, по-видимому, любила или думала, что любила. Но никогда и отдаленно не повторилось то упование, которое захватило ее, когда, уткнув свое лицо в складки одежды родителей, она разделила с ними их до вибрации в воздухе очевидную любовь.

Последнее, что она запомнила об отце, – это его руки. Она сидела у него на коленях, прислонившись спиной к его груди, а он руками прижимал ее к себе, и она видела только его ладони. Тогда они показались ей огромными, с толстой, грубой кожей, с мощными длинными пальцами. И в том, как они обнимали ее – крепко, надежно и в то же время мягко, чтобы не потревожить, – в том, как она доверяла им, рукам своего отца, обещающим спокойствие и защиту, – в этом, наверное, и заключается счастливая безмятежность детства. Именно в том, что есть руки, от которых исходит тепло и заботливая нежность, и ничего больше не требуется, никаких других доказательств любви. Главное, чтобы они были, в настоящем, в будущем – всегда...

Вот, собственно, и все, что она сохранила, только эти три размытых временем, смятых, тусклых, выцветших воспоминания. Она даже не уверена, было ли все так, как ей теперь кажется, не перепутала ли она что-нибудь. Может быть, разные ощущения, события, впечатления наложились друг на друга и создали то, что она теперь оценивает как существовавшую когда-то реальность. Кто разберет, да и какое это имеет значение?

Ведь не подменяет ли наше восприятие прошлого само прошлое? Иными словами, не является ли прошлое именно таким, каким мы его помним, а не таким, какое оно было в действительности? В конечном итоге прошлое живет только в нашей памяти, мы единственные его хранители, и больше оно нигде не существует. Вообще нигде.

Так что же тогда реальность прошлого?

Первые год-два, которые они прожили с матерью одни, без отца, совершенно стерлись из памяти Элизабет. Почему, она не знала. Да и что было запоминать: горе матери, ее покрасневшие глаза, постоянно ищущий, озирающийся и в результате останавливающийся в растерянности взгляд, дерганую нервозность движений, ломкий, утративший плавность голос?

Дина почти перестала звать дочку Лизи, как звала прежде, когда в самих звуках слышалось нежное прикосновение кончика языка к нёбу, и так, оттолкнувшись от губ, они плыли в воздухе, лаская и волнуя. Нет, теперь она называла ее полным именем Элизабет, и дело было даже не в официальности, а скорее в том, как подламывалось расколотое посередине громоздкое слово на «Лиз» и «Бет», а все из-за дрожащей неуверенности в Динином голосе, беспомощно сбивающемся, спотыкающемся на гласных.

Что чувствовала сама Элизабет в то время? Наверное, ничего. Хотя вполне возможно, что какие-то волнения бередили ее сердечко, они не сохранились, не осели в памяти. К тому же она проводила много времени у родителей отца, которые, потеряв обоих сыновей, теперь перенесли всю свою любовь на единственную внучку. Впрочем, визиты к бабушке с дедушкой продолжались не долго. Будучи еще совсем не старыми, они тем не менее вскоре захворали, не в силах оправиться от удара, и через год покинули этот мир – сначала бабушка, потом, через пару месяцев, и дед.

И этот период Элизабет тоже почти не запомнила, возможно, сработал инстинкт самосохранения и память снова отсекла неприятное.

Так или иначе, но первые отчетливые воспоминания Элизабет связаны с ее днем рождения, когда ей исполнилось семь лет. Почему-то именно с этого дня ее память стала отсчитывать

месяцы и годы, пусть условные, не отражающие реальный ход времени, а искаженные причудливым фильтром ее сознания, но тем не менее последовательно связанные между собой.

Они с мамой решили, что отметят ее семилетие, заранее договорились об этом еще за три месяца до самой даты. Раньше они тоже праздновали дни ее рождения, пропустив лишь один сразу после того, как погиб папа. Но на все остальные приезжали бабушка с дедушкой и приходили две-три подружки из соседних домов, Элизабет получала подарки и тут же открывала их, как научила ее мама, и восторгалась почти всегда искренне, и благодарила.

И тем не менее ощущения праздника, нетерпеливого ожидания его, словно сказочного чуда, как это бывает обычно с детьми, мечтаний каждый раз перед сном, когда ночная дрема охватывает и вовлекает в свою предсонную круговерть и ты явственно видишь все, что должно произойти, и даже ощущаешь будущее физически, замирая от восторга, – такого предпраздничного волнения Элизабет никогда не испытывала. Не потому, что была черствым ребенком, и не потому, что ее нечем было удивить, а потому, что праздника никакого не было.

Дни рождения получались всегда тускло обыденными, одинаковыми – угощениями на столе, разговорами, играми; они ничем не отличались от повседневности, разве что только помеченным кружочком в календаре, где напротив даты было приписано, чтобы, видимо, не забылось: «День рождения Элизабет».

Но к ее семилетию они с мамой начали готовиться заранее. Все началось с того, что однажды, еще в начале лета, месяца за три до праздничной даты, мама зашла в спальню к Элизабет, когда та еще не спала, а лежала на боку, подперев головку ладонью, и рассматривала свою любимую книжку с картинками.

Она уже неоднократно прочитала ее, именно эту книжку, а картинки рассматривала бесчисленное количество раз, но именно тот факт, что она знала рассказанную в книге историю почти наизусть, помнила все высказывания героев, а концовку вообще заучила, – именно невозможность удивления, невозможность непредвиденной новизны и привлекала ее. Она не искала неожиданности, как все дети, она ждала известного ей и потому защищенного будущего. Защищенного именно от неожиданности. И радовалась каждый раз заново, когда все заканчивалось именно так, как она ожидала.

– Лизи, – окликнула ее мама, и Элизабет вздрогнула. Она отвыкла от такого обращения, а еще от голоса, снова как когда-то плавного, почти певучего, как будто обнимаешь двумя руками большой прозрачный шар и тот податливо прогибается от нажима, но в то же время не теряет своей приятной упругости. И еще ей почему-то сразу расхотелось спать, и она легко оторвалась от книги и посмотрела на мать.

– Да, мама, – отозвалась она.

Она давно не смотрела так внимательно на свою мать, как сейчас, может быть, потому, что привыкла к ее будничному облику а разве возможно оценить будничное? Но сейчас, видимо, из-за неожиданно плавного, певучего голоса матери Элизабет вгляделась в нее и поразились. Дина была неожиданно молода и неожиданно красива. Как этого можно было не замечать раньше? «Неужели я тоже буду когда-нибудь такой же красивой, как моя мама?» – скорее с удивлением, чем с надеждой, подумала Элизабет, и именно тогда эта вдруг возникшая мысль увязалась за ней и не отставала потом многие годы.

– Знаешь что, дочка, – сказала молодая красивая мама, – давай начнем жить по-другому.

Элизабет ничего не ответила, она не знала, как это «по-другому». Она еще внимательнее посмотрела на мать.

– Видишь ли, дочурка... – Мама присела к ней на кровать положила руку на голову.

Элизабет вздрогнула от прикосновения, и тут же с Дининой руки на затылок пролилось расслабляющее тепло и разошлось по телу, не забыв ни одного даже самого маленького кусочка. Хотелось зажмуриться, но она не могла оторвать взгляд от маминого лица.

– Нам было с тобой тяжело все это время без папы, да? – сказала мама. Элизабет хотела ответить «да», но лишь кивнула. – Но тяжело не может быть постоянно. В какой-то момент привыкаешь, ведь так? Ведь много уже времени прошло, и мы должны жить дальше, понимаешь? – снова спросила мама, и Элизабет снова кивнула, хотя снова хотела сказать «да». – Я знаю, я уделяла тебе мало времени и мало внимания. Ты поймешь меня, если не сейчас, то позже, хотя я все равно виновата перед тобой. Но давай постараемся, чтобы теперь все было по-другому. Хорошо?

Почему-то мама каждый раз заканчивала предложение вопросом.

– Да, мамочка, – наконец ответила Элизабет. – Конечно, давай.

– Наши дни должны наполниться радостью. Ты уже большая девочка, и мы многое можем делать вдвоем, вместе. Например, у меня есть идея.

– Какая? – спросила Элизабет, все еще не понимая, о чем идет речь. Ей и в голову не приходило, что они с мамой живут как-то не так и что можно жить по-другому, лучше. Да и что такое лучше?

– У тебя ведь день рождения в августе. Вот и давай к нему подготовимся, давай, мы устроим маленький бал. Сошьем тебе праздничное платье, специальное, какое-нибудь очень нарядное. Все надо будет продумать, приготовить список гостей, угощения. Например, давай пороемся в кулинарных книгах, выберем необычный рецепт пирога, или лучше два рецепта, и научимся их готовить. Потом игры. Можно ведь придумать много игр, шарады... – мама задумалась, припоминая, какие еще бывают игры, – фанты, да мало ли что? Я уже не помню, во что любят играть дети. Вот нам и надо будет все придумать, может быть, ты с подружками сможешь какую-нибудь сценку из спектакля поставить. Такой маленький театр сделаем. Ну как?

– Конечно, мама, – опять согласилась Элизабет, все еще не понимая, что именно означают и неожиданный мамин тон, и ее не менее неожиданное предложение.

– Вот и хорошо, – улыбнулась Дина, наклонилась и поцеловала Элизабет в глазик, смяв мягкими губами реснички, щекотнув где-то у переносицы, так что нечто наподобие изморози ветвисто пробежалось у Элизабет по затылку, а потом растеклось ниже в сторону шеи.

Какие найти слова, чтобы описать, что она почувствовала? Маленькое затмение, будто что-то живое, трепетное и, без сомнения, любящее проникло через глазик в ее тело, и ей пришлось сжаться, втянуть голову в плечи, чтобы постараться не упустить это, удержать. Мамин поцелуй проник и растворился где-то у еще мгновение назад ровного сердца.

– Спокойной ночи, – сказала мама, и Элизабет думала, что она снова наклонится и поцелует ее, но мама поднялась и сделала шаг к двери.

– Спокойной ночи, мама, – ответила Элизабет и сладко поежилась, предвкушая сон, который уже давно подкрался и подкарауливал ее где-то поблизости.

Тем не менее она не заснула сразу. Она еще долго лежала с закрытыми глазами и сама чувствовала свою улыбку, и оттого, что улыбка безотчетна, что она сама, без ее, Элизабет, на то согласия пробралась на губы, от этого становилось еще более сладко. Именно сладко, как будто она съела большой кусок шоколадного торта с ванильным кремом и последний только что прожеванный кусок еще обволакивал, смазывал приторной патокой горло. А потом она стала мечтать, вернее представлять, как именно все произойдет в день ее рождения через три месяца: какие на ней будут платье и туфельки и как гости будут на нее глядеть с восхищением и любовью.

Обо всем об этом, да и о многом другом она теперь думала каждую ночь, прежде чем заснуть, каждый раз разыгрывая в своем воображении маленькие сценки, как бы рассказывая самой себе историю, которая, она знала точно, продолжится и следующей ночью, и той, что будет потом. Думать о предстоящем празднике было так приятно, что Элизабет даже стала

раньше ложиться спать, на немного, минут на пятнадцать-двадцать. Зато какими красочными эти минуты получались!

Впрочем, мечтами наполнилась не только ее детская, уютная кроватка, но и каждое последующее утро, да и весь дальнейший день. Мама выполнила свое обещание: после их ночного разговора они вдвоем с Элизабет сели за стол с тетрадкой и ручкой и составили план подготовки к теперь уже долгожданному дню. Дел действительно набралось много, и с этого дня Элизабет была беспрестанно занята, развлекая не только себя, но и своих подруг разнообразными заботами, большинство из которых хоть и требовали внимания и сосредоточенности, но при этом вызвали радостное возбуждение.

В результате все отлично получилось, именно так, как и было задумано: платье отлично сидело на стройной фигурке Элизабет и необычайно шло ей. Угощения, которые в основном были придуманы и приготовлены самой Элизабет, конечно, не без помощи Дины, едва помещались в холодильник и ждали возможности перебраться на стол. Все приглашенные должны были приготовить номера для представления, и до Элизабет доходили слухи, что кто-то разучивает несколько забавных фокусов, кто-то исполнит песню под аккомпанемент пианино, кто-то, конечно же, прочитает стихи, и даже удалось поставить маленький спектакль, в котором главную роль получила сама Элизабет.

Решено было пригласить и нескольких взрослых, но и им не сделали поблажки, они тоже должны были выступить с номерами; в общем, все предвещало самый настоящий праздник, такой, которого еще не было ни у самой Элизабет, ни даже у ее многочисленных друзей.

Больше всего радости доставляла Элизабет подготовка к спектаклю. Надо сказать, что ей необыкновенно повезло. Дело в том, что к мистеру Свиллану, пожилому, вечно усталому доктору, который жил и практиковал в их небольшом городке, приехал из Нью-Йорка племянник. Этот племянник, высокий интересный мужчина по имени Рассел (он требовал, чтобы его называли именно так, без всяких «мистеров»), написал несколько пьес, которые шли в манхэттенских театрах не только на Бродвее, но и в драматических. Он планировал прожить у дяди все лето, лишь иногда ненадолго уезжая по делам в Нью-Йорк, и сам предложил написать маленькую пьеску специально для дня рождения Элизабет.

Более того, он вызвался ее поставить и раз в неделю репетировал с детьми; ему самому так нравилось возиться с группой трепещущих от ответственности и счастья мальчиков и девочек, что он приписал для себя дополнительную роль доброго волшебника, который несколько раз появляется в пьесе, когда главная героиня (Элизабет) попадает в наиболее комические (читай – затруднительные) ситуации.

Каждую репетицию Рассел превращал в веселый праздник, он вообще был мастер на разные выдумки и уморительные шалости, и дети не чаяли в нем души, особенно Элизабет, которой как исполнительнице главной роли и имениннице он уделял особое внимание. Как-то почти незаметно ему удавалось стереть грань между собой и детьми, видимо, он обладал особым талантом не только опускаться до их уровня, но и поднимать их до себя. Он дурачился вместе с ними, придумывал для каждого персонажа либо смешную рожицу, либо забавную походку, а потом с уморительным до колик серьезным видом воплощал в жизнь свои режиссерские находки. В результате дети легко забыли о его тридцати восьми годах, о его очевидном, особенно для их маленького городка, статусе знаменитости (ведь не в каждом городе проживает известный драматург, о котором не раз писали в газетах), и он постоянно был окружен ими – кто-то сидел у него на коленях, кто-то хватал его за ноги, дергал за руки, куда-то тащил, что-то стремился показать.

Рассел был высокого роста, с запоминающимся, выразительным лицом и пышной шевелюрой. Детям это было, конечно, безразлично, но их мамы, которые приводили детей на репе-

тиции, а потом все вместе отправлялись в соседнее кафе, где баловались кофе с пирожными, бесконечно обсуждали Рассела, восторгаясь не только его внешностью, но и умением находить общий язык с детьми и способности переходить от бесшабашного веселья к серьезности, когда на лице выделялись внимательные, умные глаза, от светлой притягательности которых сложно было оторваться.

Мама Элизабет тоже, конечно, высказывала свое мнение о Расселе, и оно немногим отличалось от мнения остальных мам, ведь молодым женщинам не было и тридцати и никто из них не был обременен работой: в этом обеспеченном аккуратном городке семья вполне обходилась либо заработками мужа, либо, как в трагическом случае с Диной, страховыми выплатами, либо другими стабильными источниками доходов.

Конечно же, у Дининых подруг, как и у многих других женщин их возраста, положения и достатка, были нереализованные романтические стремления, к тому же, постоянно общаясь в своем тесном ограниченном кружке, они особенно живо реагировали на новые лица, особенно мужские, особенно интересные, не говоря уже о приезжей нью-йоркской знаменитости.

Не следует, однако, полагать, что кто-то из этих женщин, в основном занятых своими детьми, домом, ну и собой, конечно, мог бы воплотить свои романтические мечтания в жизнь. Маловероятно, что измена мужу как и другие решительные шаги, которые могли бы повлиять на дальнейший ход жизни, присутствовали в планах кого-либо из молодых дам. Конечно же, нет!

Но кто может запретить вечерние грезы за книжкой при притушенном свете, когда утомленный после рабочего дня супруг давно уже спит, а из комнаты детей доносится лишь ритмичное дыхание, и весь дом затих, словно и сам дремлет? Тогда чувство одиночества, отдавая смутным привкусом свободы, не может не обратить избалованного воображения в зыбкое пространство, где властвуют фантазии.

Впрочем, всегда существует дистанция между вечерними фантазиями и их реализацией. И если она не пройдена, а чаще всего она и не бывает пройдена, оставаясь всего лишь расплывчатой иллюзорной игрой разыгравшегося воображения, то можно через час присоединиться к мужу и заснуть спокойно у него на плече, согреваясь его застоявшимся теплом, и никакие угрызения совести не потревожат сладкий сон. Лишь, возможно, будет тянуть низ живота, но не отдаваясь болью, а наоборот, скорее успокаивающе.

В принципе для Дины, мамы Элизабет, никаких ни моральных, ни юридических запретов не было – она единственная из всех своих подруг была свободна для возможного романтического увлечения. К тому же мы можем только догадываться, в каком состоянии она пребывала: потеряв мужа три года назад, она все это время избегала новых знакомств, проявляя безусловную твердость, но в то же время лишая себя элементарного женского благополучия.

Но, в конце концов, сколько может себя сдерживать женщина, особенно если она привлекательна и если мужчины постоянно бросают на нее восхищенные взгляды, которых она не может не замечать? Не следует также забывать про нормальные сексуальные потребности, которые, если их долго не удовлетворять, вызывают раздражение и нервную, с трудом контролируемую ажитацию. А ведь в данном случае под словом «долго» понимается три томительных года!

Вполне вероятно, Дина тоже отметила представительного, вызывающего всеобщее восхищение драматурга. Были ли у нее мысли или планы приблизить его к себе, к своей дочери – мы не знаем. Но даже если и были, что с того?

А вот Рассел наверняка обратил внимание на незамужнюю красивую мамашу и, без сомнения, оценил ее.

Дело было даже не в ее красивом теле, которое, несмотря на стройность и плавные, округлые формы, как бы не вмещалось в сдерживающее его платье, как бы все равно выбивалось напоказ. А в том, что многолетнее искусственное самоограничение не могло не сказаться, и тело вопреки желанию самой Дины, даже и не подозревавшей о его предательской откровенности, было не только незащитно открыто, но и как бы набухло от накопившегося нерастратченного желания, от нерастратченной нежности.

Итак, неделя катилась за неделей в шумной, возбужденной подготовке, и наконец настал день долгожданного праздника. Дом быстро заполнился, съехалось десятка четыре гостей, в основном подруги Элизабет с родителями, да приехали еще две-три приятельницы Дины с мужьями и детьми.

Можно, конечно, описать то счастливое волнение, которое владело Элизабет на протяжении всего вечера. Можно в подробностях остановиться на том, как восхитительно она чувствовала себя в пышном своем платье, как приятно было ей сознавать себя хозяйкой этого красивого, особенно сегодня, дома, встречая гостей у порога, принимая поздравления и подарки. Можно рассказать о спектакле, который прошел на «ура», и о том, как рассеявшиеся в гостиной на специально взятых напрокат стульях зрители неоднократно прерывали постановку смехом и вздохами сопереживания, а под конец неистово рукоплескали.

А участники спектакля, и прежде всего Рассел, который всегда находился поблизости, выталкивали ее, Элизабет, в центр, так что все могли видеть ее пунцовые от восторга щеки и блестящие, сияющие от счастья глаза. И она склонялась в поклоне, а аплодисменты не сбавляли накала, и ей ничего не оставалось, как попытаться спрятаться внутри вытянувшегося позади нее ряда исполнителей, но она натыкалась на него, и ее снова выталкивали навстречу зрительному залу, который сейчас представлялся ей единым огромным добрым существом, все прощающим громохат и громохат.

Да, можно сказать, что Элизабет была абсолютно, безусловно счастлива в тот день, как может быть счастлив семилетний ребенок. И все же не спектаклем, не подарками, не угощениями и не общим успехом запомнился он ей.

Он запомнился ей тем, что мама выглядела совершенно иначе, не такой, какой Элизабет ее знала и к которой привыкла. И в тот вечер Элизабет впервые догадалась, что их жизнь, та, что началась со дня трагической гибели папы, закончилась. И что теперь их обоих ожидает иная, новая жизнь. Какая – Элизабет не знала.

Вместе с Элизабет мама встречала гостей в коридоре, из него несколько дверей вели в комнаты первого этажа. Она была в специально сшитом к этому дню платье (они вместе ходили к портнихе и обсуждали наряды друг друга, как настоящие подруги), и оно, плотно облекая ее гибкое округлое тело, расходилось книзу широкими элегантными складками.

Дине вообще шли светлые тона, ее каштановые волнистые волосы, карие глаза и немного смуглая, будто загорелая, гладкая, казалось, даже от взгляда лоснящаяся кожа только выигрывали от контраста со светлыми оттенками. Вот и в тот день платье, даже не светло-голубое, а скорее лазурное, впитывало воздух и только подчеркивало плавность легких маминых движений.

И тем не менее Элизабет чувствовала затаенное напряжение в глубине маминого голоса, ее взгляда. Оно как бы невзначай прорывалось и то тут, то там образовывало сгустившуюся массу взволнованного ожидания.

Часть гостей уже съехались, у стены в углу уже громоздилась небольшая горка подарков – коробки, упаковки, свертки, вазы были переполнены цветами. Да и весь дом уже гудел веселым шумом, и Элизабет, конечно же, хотелось сорваться и побежать в комнаты, где резви-

лась дюжина детей, но она сдерживала себя – ответственная роль хозяйки, которую она сейчас играла, не допускала детской шаловливости.

А тут к тому же дверь открылась и на пороге появился мистер Рассел, то есть просто Рассел, и Элизабет даже запрыгала от восторга – не то что она ждала его больше других, но когда увидела, радость теплой волной растеклась по ее телу и наполнила, и стало сразу тепло, так что покраснели щеки и даже, как ей показалось, шея и руки.

Она могла бы сдержаться – но зачем? И она рванулась к большому, пахнущему хорошими духами человеку, который всегда был так добр к ней и так жизнерадостно весел, и обхватила его, и прижалась головкой к его тугому спортивному животу.

– Рассел! – закричала она, как будто он был далеко и мог не услышать. – Я должна тебе что-то сказать... про спектакль... Я придумала, что там, когда я попадаю на гору и говорю: «Ну как же мне спуститься?..» – я придумала, что мне надо поднести руку к глазам, вот так, козырьком, и оглядеться вокруг, как будто я ищу тропинку. – Элизабет подняла голову и посмотрела на улыбающегося мужчину снизу вверх доверчиво и восторженно, как всегда смотрят дети на людей, к которым привязаны или готовы привязаться. – Как ты думаешь, я здорово придумала? Потому что иначе...

– Конечно, здорово, – охотно согласился Рассел и положил широкую ладонь на ее светлую головку и ласково прошелся по волосам, перебирая пальцами легкие кудри. – Именно так и надо сделать, молодчина, здорово придумала. А сейчас посмотри-ка сюда.

И когда Элизабет отстранилась немного, он вынул из внутреннего кармана своего темно-коричневого пиджака маленькую коробочку и протянул ее имениннице. Коробочка была узкая, длинная, завернутая в подарочную яркую бумагу и перевязанная золотой лентой.

– Можно открыть? – спросила Элизабет и невольно оглянулась на мать, как бы ожидая ее поощрения.

– Конечно, – услышала она мужской голос сверху, но он не был уже важен сейчас.

Мамино лицо – вот что было важно. Такого открытого выражения радостного ожидания, которое Дина не сумела скрыть, да и не пыталась, Элизабет не видела никогда прежде. Как будто через минуту, да что там минуту – секунду, мгновение что-то непременно должно произойти, что-то неизвестное, но необыкновенно хорошее. Элизабет даже стало неловко за маму, за ее очевидную незащитность, за излишнюю доверчивость, которой, это ведь было очевидно, так легко воспользоваться. Как и для чего – Элизабет не знала, но вид неуверенной мамы, ее неприкрытое, выставленное напоказ ожидание неприятно кольнул. Элизабет проследила мамин взгляд, как будто скользнула по протянутой нитке, и легко соединила его с глазами Рассела, которые не отражали, а принимали его, впитывали в себя.

– Да-да, Лизи, конечно, открой, – наконец сумев оторвать взгляд от Рассела и перенеся его на дочь, ответила Дина. – Конечно, посмотри, что тебе подарил мистер Рассел.

Элизабет развязала бантик золотой ленты, сорвала подарочную упаковку и стала рассматривать изящную продолговатую коробочку из черного бархата. Она и не думала ее открывать, ей и в голову не пришло, что эта роскошная коробочка могла еще что-то таить внутри – она сама по себе завораживала, сама по себе была чудесным, драгоценным подарком.

– Открывай, солнышко, – поторопила ее мама и подошла ближе, так что Элизабет услышала запах ее духов, и они, смешавшись с запахом мужских духов, которым только что была окутана Элизабет, создали непонятно тревожащую волну, как будто было что-то неприличное в переплетении этих двух таких разных, как бы спорящих друг с другом запахов.

– Давай посмотрим, что там внутри, – сказала мама и присела, склонившись к Элизабет; теперь их волосы соприкасались.

И Элизабет опять неприятно кольнуло то, как мама присела, как манерно, ненатурально, будто в заученном балетном движении подогнули ее ноги, как волной опустилось на пол, образовав на нем складчатый обруч, лазурное платье. А еще Элизабет стало неприятно оттого,



что совсем рядом, прямо перед ними возвышался мужчина, конечно, очень знакомый, но все равно очень чужой. И что-то было неловкое в том, как застыл борт его плотного твидового пиджака, почти соприкасаясь с маминым лицом.

А потом мама тоже подняла глаза вверх, как совсем недавно ее дочь, пытаясь там, наверху, снова встретить мужской взгляд и снова уйти в него, растечься в нем, и от этого Элизабет снова почувствовала неловкость за мамину еще более подчеркнутую незащищенность перед чужим взглядом сверху, перед крупной, тяжелой ладонью, которая по-прежнему поглаживала легкие кудри на головке Элизабет.

Ей вдруг почудилось, что она присутствует при заговоре, будто эти двое взрослых, но особенно мама, самая надежная и близкая мама, сговариваются между собой без ее, Элизабет, ведома. Более того, они пытаются скрыть от нее свой сговор.

Она уже хотела отойти в сторону, но тут ее пальчики сами надломили коробочку, и та открылась, и Элизабет вскрикнула от неожиданности, но и от радости тоже. Внутри, извиваясь плавными линиями, покоилась цепочка из белого тяжелого металла, на которой, охваченный загибающимися лепестками, ярче белого блестел ровный жемчужный камушек.

– Можно, я тебе сам надену, Лизи? – услышала она голос Рассела; она и не заметила, как он тоже опустился к ним, и теперь их головы находились совсем рядом – ее, мама и Рассела. И уже не было ничего неприятного и беспокойного в их близости, все было естественно и правильно, и Элизабет кивнула, все еще не в силах оторвать взгляда от сверкающей белой линии на черном бархатистом сукне.

– Вы балуете девочку, мистер Рассел. К чему такие дорогие подарки? – спросила мама, но Элизабет не услышала в ее голосе ни недовольства, ни разочарования. Ей показалось, что мама счастлива не менее ее самой, и от этого все едва зародившиеся обиды мгновенно покинули сердечко Элизабет. А осталась только родная, любимая мама, всегда веселый Рассел и сверкающий подарок на черном бархате.

Элизабет повернулась к Расселу спиной, вытянула шейку, чуть напрягла ее в ожидании холодного металлического прикосновения. Дочь ловила взгляд близких маминых глаз, и ей легко удавалось разглядеть в них не только любовь, но и восторг, даже гордость за свою хорошенькую, послушную девочку, которая была точным повторением ее самой, разве что волосы чуть-чуть посветлее. И сейчас, наверное, Дина вспоминала какой-нибудь свой далекий день рождения, когда она сама была ребенком и была беззаботно счастлива, как уже не могут быть счастливы взрослые. Вспоминала, как смотрели на нее родители, молодые тогда, полные любви и надежд, вот как она сейчас.

Наконец Элизабет перестала чувствовать прикосновение мужских пальцев на своей шее и тут же, будто спущенная с привязи, рванулась в комнату к зеркалу. И уже там, в комнате, услышала окрик матери, но не одергивающий, а задорный, пропитанный почти несдерживаемым смехом.

– Лизи, – крикнула ей вдогонку мама, – а поблагодарить? Кто будет благодарить мистера Рассела за подарок?

Ах да, вспомнила Элизабет и так же стремительно, как только что сорвалась с места, подбежала к по-прежнему сидящему на корточках, будто именно в ожидании ее, Расселу.

– Спасибо, Рассел! – И она обхватила его ручками за голову и снова прижалась, но лишь на секунду, чтобы сразу отстраниться.

– И все? – засмеялся довольный Рассел. – А поцелуй именинницы? – И он пальцем потыкал себя в щеку, указывая место для поцелуя.

Элизабет мельком взглянула на мать. Дина улыбалась поощрительно немного смущенной, немного наигранной улыбкой невольной свидетельницы.

Так же стремительно, как и до того, Элизабет обхватила большую голову и уткнулась губами в непривычную мужскую, впрочем, совсем не жесткую, а гладкую и податливую щеку, награждая Рассела звонким поцелуем. Взрослые засмеялись, а мама повторила:

– И все-таки, мистер Рассел, зачем вы сделали такой дорогой подарок? Это совершенно ни к чему...

Она продолжала бы говорить, но Рассел, которого Элизабет все еще держала за шею, прервал ее:

– Дина, я ведь просил называть меня просто по имени, без всякого «мистер». Вы же мне обещали. Давайте пообещайте мне еще раз, в присутствии свидетельницы. Лизи, ты готова стать свидетельницей? – перевел он взгляд на Элизабет. Та кивнула.

– Хорошо-хорошо, – улыбнулась мама, – я обещаю.

– Нет, прямо сейчас скажите: «Рассел». Да, Лизи? Пусть мама скажет.

– Конечно, мама, скажи, я ведь его тоже так называю. Все дети на репетициях зовут его Расселом, и ничего.

– Но я же не дитя и не на репетиции, – сквозь смех проговорила мама, и Рассел тоже засмеялся.

– Тем более, – заметил он. – Давайте, Дина, мы с Элизабет требуем. – И он заговорщицки посмотрел на девочку.

– Хорошо-хорошо, Рассел, – наконец согласилась мама. – Обещаю впредь называть вас только по имени.

– Ну что, я могу идти? – нетерпеливо спросила Элизабет и, получив мамин утвердительный кивок, бросилась в комнату, оставив взрослых наедине.

Как уже было сказано выше, праздник прошел великолепно. Спектакль зрители восприняли на «ура», за столом тоже было весело, почти все гости подготовили выступления: кто-то читал поздравление в стихах, кто-то шутил, две девочки, подружки Элизабет, даже сыграли на пианино специально разученную пьеску, для которой сами написали стихи, так что получилась вполне милая песенка. Потом были игры, которые Элизабет с мамой заранее придумали, а потом сладкий стол с двумя тортами, приготовленными не без участия самой Элизабет.

В общем, все было замечательно, и даже не потому, что пришлось по вкусу угощение, и не потому, что игры увлекли всех, даже взрослых. А просто то ли от счастливого личика Элизабет, от ее блестящих глаз и раздурявшихся щечек, то ли от общего ощущения праздника в воздухе, как будто разбрызгали легкий фрагранс, отчего он, не потеряв своей светлой прозрачности, пропитался напряженным ожиданием, набух и теперь сам осыпал пылью возбуждения и взрослых, и детей... Возможно, от всего этого, а может быть, от чего-то другого, но веселье и непринужденность наполнили весь вечер, и Элизабет, лишь на секунду отвлекаясь, бросала взгляд на маму и даже иногда подбегала к ней, хватала за руку и тащила показать что-то очень важное, что, если не разделить его с мамой, казалось, не только перестанет иметь значение, но вообще прекратит существование. И утаскивала, и Дина, беззвучно смеясь и пожимая беспомощно плечами, оглядывалась на Рассела, который, так уж получалось, всегда оказывался рядом с ней, и тот улыбался в ответ, и улыбка могла означать многое, но, конечно, прежде всего участие и понимание.

Заметила ли Элизабет, что эти двое были, по сути, неразлучны в тот вечер? Почувствовала ли она их очевидное взаимное влечение, которое не могло не бросаться в глаза? Конечно, почувствовала. И хотя Элизабет опять кольнула обидная догадка, что, оказывается, мама может выглядеть счастливой с посторонним человеком, тем не менее некое новое чувство, возможно, зарождающаяся женская солидарность с матерью, интуитивное соучастие с ней легко перевесили ревнивый осадок. К тому же рядом с мамой был не совсем знакомый человек, а красивый, всегда веселый Рассел, который нравился и самой Элизабет. Ее даже

радовало, что он, такой невероятно знаменитый Рассел, явно заинтересован мамой. Да что там заинтересован – влюблен!

Когда она в первый раз, наблюдая за мамой с Расселом, мысленно произнесла слово «любовь», неразборчивая смесь чувств охватила ее, и разобраться в ней, разложить чувства по частям, выделить главное оказалось невозможно. Конечно, Элизабет ощущала и радость, даже гордость за маму, и чувство сопричастности – раз они с мамой неразлучны, значит, и она, Элизабет, тоже участвует в намечающемся таинственном приключении. И в то же время в этом клубке чувств присутствовал и явный привкус неловкости – во-первых, от самого неловкого слова «любовь», ну и от того, что именно за ним стоит. Всего, что скрывалось за понятием «любовь», Элизабет, конечно, не знала, но все равно была смущена и взволнованна.

Было уже поздно, оживление спало, гости подходили прощаться. Рассел уходил одним из последних. Он наклонился к Элизабет, провел двумя пальцами по ее щечке, словно поправляя растрепавшиеся локоны, и она даже зажмурилась – так щекотно скользнули по коже его пальцы. Нет, «щекотка» – неправильное слово. Потому что смеяться ей не хотелось, а хотелось съежиться, передернув плечами от пробежавшей по спине морозной ломкой волны.

– С днем рождения, Лизи, – тихо сказал Рассел, а потом повторил: – С прекрасным, великолепным днем рождения. Ты была очаровательна.

И он выпрямился, и теперь стоял рядом с мамой, склонившись уже к ее лицу, и что-то нашептывал ей. А потом, видимо, пользуясь сократившимся до миллиметров расстоянием, дотронулся губами до раскрасневшейся маминой щеки.

Элизабет ясно видела каждую подробность. Мужские губы даже не прикоснулись к маминей коже, не поцеловали ее, а прошлись, пробежали по ней. Элизабет увидела, как мама еще больше зарделась, но не уклонилась, а лишь улыбнулась в ответ неопределенной, растерянной улыбкой и потом опустила глаза, нашла ими глаза дочери. Она так и смотрела на Элизабет и улыбалась, может быть, пытаясь сгладить улыбкой откровенность поцелуя, или наоборот, поделиться с дочерью частичкой своего смущенного счастья.

– Спасибо, Дина, за вечер, – сказал Рассел на сей раз уже громче. – Я надеюсь, мы скоро увидимся.

– Да-да, – мама все же подняла глаза, – непременно, Рассел. Я буду рада.

Тот кивнул головой, еще раз посмотрел на Элизабет, подмигнул ей и вышел.

Потом, когда все гости ушли, они с мамой еще посидели немного, обсуждая, как и предполагается, закончившийся вечер; говорили про гостей, кто какое поздравление приготовил, вспоминали подробности вечера, ну и, конечно, спектакль.

Они расположились за праздничным столом, на котором все еще громоздились чашки, блюда с кусками недоеденного торта, розетки, перепачканные сладким кремом. Но беспорядок ни мать, ни дочь не смущал, наоборот – и сам стол, длинный, с белой, уже несвежей скатертью, и не доеденные детьми сладости, и даже грязная посуда – все еще дышало только что закончившимся праздником, все звенело и светилося им. Точно так же светилась, еще не остыв от него, сама Элизабет, да и мама не пыталась скрыть не покинувшего ее возбуждения.

Так они и сидели, разговаривая неторопливо, неосознанно желая задержать в себе ощущение праздника, которое покидало их, возвращая в уже поздний вечер, но покидало постепенно, без резкого, ошеломляющего перехода.

– Как тебе мистер Рассел, Лизи? – между прочим спросила мама, и Элизабет, не замечая заведомой продуманности вопроса, одобрительно кивнула головой.

– Он очень веселый, мама, – ответила она. – Ты бы видела, как он всех смешил на репетициях. Когда Бобби говорил свой текст, ну, ты помнишь, про козу, которая...

– Но он тебе нравится? – перебила ее мама. – Я имею в виду мистера Рассела.

– Конечно, – не поняла Дина. Она-то думала, что уже ответила на мамин вопрос. – Конечно, нравится. Рассел такой добрый, ты знаешь, у него всегда есть для меня подарки. То конфета, то еще что-нибудь, он всегда их держит в кармане пиджака, ну, в этом... как он называется, не тот, который спереди, а с другой стороны.

– Во внутреннем, – подсказала мама и тут же задала еще один ненужный вопрос: – И ты могла бы с ним дружить?

Элизабет даже пожала плечами:

– Мы и так дружим. Разве ты не знаешь?

– Конечно, милая, – согласилась Дина, – конечно, вы дружите. Я знаю.

Элизабет глотнула остывшего чая, она собралась еще что-то сказать, но мама остановила ее:

– Знаешь что, доченька, давай-ка мы пойдем с тобой спать. Поздно уже, а посуду уберем завтра. Встанем пораньше и уберем. А то я устала, да и у тебя, я гляжу, глаза уже слипаются. Давай пойдешь почисти зубки, умой личико и ложись.

Элизабет хотела было возразить, но вдруг почему-то слово «спать» разом обрушило на нее всю изматывающую суматоху прошедшего дня, и она сразу лишилась только что, казалось, неисчерпаемых сил, так что ей пришлось заставить себя подняться из-за стола и побрести в ванную комнату. На привычный ритуал едва хватило сил – так вдруг захотелось упасть в свою кровать, и вытянуть уставшие ноги, и расслабить спинку, и притушить темнотой глаза.

Но когда она именно так и сделала и когда мама, зайдя на минуту в ее комнату, пожелала ей «спокойной ночи» и поцеловала перед сном и погладила мягкой ласковой рукой по головке, Элизабет еще долго смотрела в окно, на мерцающий в темноте фонарь, на раскачивающийся его свет, на волнующиеся от легкого ночного ветра деревья. Она так и не смогла закрыть глаза, она думала. Или скорее мечтала. Не важно, о чем именно, верно, о чем-то хорошем. Да и разве могут дети думать о плохом перед сном?

Так она лежала долго: сначала на боку, потом у нее затекла рука, и ей пришлось перевернуться на спину: теперь деревья махали беспокойными ветками на потолке прямо над ее головой, то загораживая, то снова впуская в комнату свет настольного, теперь не желтого, а белого фонаря. А потом она услышала стук – негромкий, глухой, сдержанный. Элизабет не обратила бы на него внимания, он бы не смог отвлечь ее от ночных блуждающих грез, но тут она услышала легкие шаги – конечно, это мама спускалась по лестнице вниз. Да-да, кто-то несомненно стучал в дверь, и это было необычно и оттого тревожно – так поздно ночью к ним никто никогда не приходил.

Элизабет еще лежала какое-то время, но тревога нахлынула на нее поглощающей лавиной: а что, если это воры, грабители, и когда мама приоткроет дверь, они... Элизабет приподнялась в кровати, прислушалась, но было тихо. Она уже готова была снова примоститься на податливой подушке, но тут до ее слуха долетел скрип открываемой двери, и снова тишина, как будто все замерло, даже деревья на улице остановили свое шершавое колыхание, даже фонарь... Хотя при чем тут фонарь?

Проще было встать, чем продолжать лежать. Проще для одеревеневших рук, которыми она опиралась на вдруг затвердевший матрас, для напряженно вытянувшегося, полностью обратившегося в слух тела, проще было подойти к двери и приоткрыть ее осторожно, неслышно в тишине замершего в ожидании дома. Ей даже не пришлось выглядывать наружу – шепот, прежде сдерживаемый плотно закрытой дверью, тут же прополз в возникшую щель; Элизабет не могла различить слов, но узнать голоса, одновременные, накладывающиеся друг на друга, было совсем не сложно: мужской, хоть и спокойный, но настойчивый, и женский, конечно, мамин – быстрый, горячий, он намного быстрее скользил по воздуху.

Разумеется, тревога, подгоняемая маминым шепотом, усилилась, но и не только тревога, еще и любопытство, и Элизабет скользнула в проем двери и оказалась в коридоре, который соединял ее спальню с маминкой, а посередине выходил на лестницу, ведущую на первый этаж в гостиную.

Отсюда удобно было пускать самодельные самолетики, что Элизабет часто и делала, наблюдая, как они плавно, замирая после каждого нового рывка, скользят все ниже и ниже и в результате, приземляясь, пропахивают мягкий ковер своими хрупкими бумажными животиками.

Сверху все виделось по-другому, предметы казались низкими, даже сплюснутыми, хотя и широкими. Вот и сейчас шевелюра Рассела, которая всегда выглядела, если смотреть на нее снизу, пышной, оказалась не такой уж густой – можно было даже различить просвечивающую матовость кожи на затылке. Он был одет в тот же темно-коричневый костюм, наверное, не успел заехать к себе домой, иначе бы переоделся, зачем-то подумала Элизабет.

А вот мама сняла вечернее платье, и теперь только лишь легкий короткий халат из светлого шелка покрывал ее плечи. Обычно мама набрасывала его перед сном, и сейчас она даже не успела его запахнуть, и сверху, из надежного укрытия, где притаилась Элизабет, можно было заметить, что под халатом белеет лишь край ночной рубашки, которая тоже не скрывала плавную выпуклость Дининой груди.

Теперь, когда дверь больше не была преградой и сдвоенный напор переплетенных голосов распался, Элизабет ясно услышала мамин шепот: быстрый, горячий, будто задыхающийся.

– Рассел, – говорила мама, – вы разбудите дочку. Вам правда лучше уйти. Вам ни к чему быть здесь. Зачем вы вернулись?

– Потому что я не могу быть один, Дина. Этой ночью не могу. Не могу быть без вас. Я бродил по улице, чтобы прийти в себя, чтобы успокоиться, но ноги сами привели меня к вам, к вашему дому.

Его голос тоже звучал отрывисто, будто пытался сплющить разделяющее их расстояние, а потом ползком пробраться внутрь мамы, под ее халат, под ее рубашку, может быть, даже под кожу.

– И все же вам лучше уйти, – повторила мама.

– Почему? – спросил Рассел и сделал шаг вперед, даже не шаг, скорее полшага – он теперь стоял возле мамы вплотную, он почти касался ее.

А мама почему-то не отступила, хотя легко могла сделать шаг назад, в сторону дивана, стоящего посередине комнаты. Но вместо этого она уперлась обеими ладонями в грудь склоняющегося к ней мужчины, как бы отстраняя, даже отталкивая его.

– Потому что вы разбудите дочь, – повторила мама, и даже Элизабет почувствовала неубедительность ее слов, ее голоса – слишком взволнованного, с каким-то шумным, выбивающимся из ритма придыханием.

– Не разбужу, – не согласился Рассел. – Я просто не могу без вас. Это невыносимо...

Он еще что-то говорил, но слова уже не имели значения, потому что маме все же пришлось попятиться назад и упереться в спинку дивана, едва сдерживая нарастающий напор мужского большого тела.

Элизабет завороченно, боясь упустить мельчайшую подробность, прикинула к массивным деревянным стойкам, поддерживающим перила лестницы, и следила не отрываясь за двумя взрослыми внизу, в середине гостиной. Она сама почему-то почувствовала непонятно откуда возникшее волнение. Да и волнение ли это было? Просто вся обстановка дома – стены, лестница рядом, даже дверь позади нее как бы немного сдвинулись и потеряли не только резкость очертаний, но и связанное с ней ощущение реальности, которая вдруг расплылась, рассыпалась, оставив лишь двух взрослых людей внизу, их наигранную, вязкую борьбу.

Женщина, которая еще недавно казалась ее мамой, пыталась возразить, но тщетность любых слов была очевидна, и наконец их губы сошлись – медленно, картинно медленно. Элизабет слышала только дыхание, свое или чужое – она не знала точно, потому что все вокруг еще больше покосилось и смешалось, и перестало иметь смысл, выделяя контрастом пунцовые женские щеки и раздавленные губы. И еще руки, особенно пальцы, которые то судорожно метались по мужским плечам, впиваясь в них, пытались прорвать материю плотного пиджака, то, распрямившись, застывали беспомощно только лишь для того, чтобы снова вцепиться, царапая пиджак с почти что различимым скрежетом немymi побледневшими ногтями.

А потом женщина, видимо, не выдерживая тяжести Рассела, стала прогибаться. Спинка дивана упиралась ей в поясницу, и Дина стала гнуться назад, как будто хотела отстраниться от навязанных ей чужих губ, чужого массивного тела, его непривычной тяжести. Но ей не удалось отстраниться. Потому что губы, тело, тяжесть преследовали ее, только нарастая в давлении, и медленная, тягучая дуга прогнувшейся женской спины стала настолько неестественно крутой, что, казалось, должна была разломиться посередине. Но она не разломилась.

Элизабет лишь успела разглядеть отброшенные в свободном падении волосы – густые, волнистые, они спадали, стремясь соскользнуть вниз, на противоположную сторону дивана, на его мягкие, готовые все податливо принять подушки, потом снова щеки, снова губы, сомкнувшиеся в каком-то нелепом, округленном движении, и снова пальцы, которые, казалось, по-прежнему, так и не найдя пристанища, живут своей отдельной, лихорадочной, болезненной жизнью. А потом медленно, будто не решившись окончательно, лишь пытаясь попробовать, нащупать, закинутая назад голова начала утаскивать за собой все тело; еще мгновение оно удерживало неестественную, застывшую позу, а потом, разом сдавшись, полетело вниз.

Перегнувшийся вперед мужчина тоже рухнул вслед за женщиной, так и не отделившись от нее, и Элизабет не смогла проследить в промелькнувшей неразберихе тел, как так случилось, что оба они оказались поперек дивана в крайне неловком положении – ноги их не умещались и по-прежнему нелепо болтались в воздухе. Было даже непонятно, как они могут терпеть подобное неудобство, как они не замечают его?

Почувствовала ли Элизабет смущение? В конце концов, эта женщина в сбившейся, сползшей с колен ночной рубашке с оголенными, беспомощно задранными вверх, нелепо растопыренными в воздухе ногами была ее мать. Казалось бы, дочь должна была испытать неудобство, растерянность, даже испуг.

Но Элизабет не испытала. Она забыла, что женщина, неловко вдавленная головой в подушки, прижатая большим, тяжелым мужским телом и замершая под ним в противоречивом конвульсивном ожидании, и есть ее мама, ее спокойная, рассудительная, привычная мама. Нет, сейчас внизу раскинутая, разбросанная по плоскости дивана, с горящими щеками, сомкнутыми ресницами, под которыми все равно читался помутненный, отрешенный взгляд, находилась неведомая, неизвестная ей женщина.

Собственно, это и оказалось самым главным открытием для Элизабет – именно тот факт, что, оказывается, в любви (а то, что перед ней разворачивалась сцена любви, было несомненно) человек перестает быть самим собой, он преобразается до неузнаваемости, превращаясь в другое, неведомое существо. Или, во всяком случае, выглядит таким со стороны.

А возможно, как раз наоборот. Возможно, именно потому, что женщина внизу и была ее матерью, Элизабет почувствовала не только сопричастность, но и странно будоражащую волну, которая сдавливала ее грудь, лишь иногда отпуская, и тогда легкие пытались стремительно вобрать в себя воздух, но тот почему-то оказывался пустым, слишком разреженным для дыхания.

Ощущение было настолько неожиданным, что Элизабет при других обстоятельствах, наверное бы, испугалась, подумала бы, что заболела, может быть, даже расплакалась. Но сейчас

она даже не заметила своего возбуждения. Оно оказалось частью сместившегося, потерявшего реальность мира – ночи, вползшей через окно в дом, затуманенного света притихшей лампы в углу гостиной, мебели, из-за нечеткости контуров утратившей свою заостренную угловатость, но главное – двух больших взрослых людей на диване, потерявших знакомый, привычный человеческий облик.

Между тем ноги женщины сползли со спинки дивана и зачем-то широко разъехались по подушкам, а халат соскочил с плеча и оголил его, и еще... Нет, ничего не было видно, замершее женское тело было почти полностью покрыто широкой мужской спиной, которая, похоже, пыталась куда-то уползти, двигая плечами, бедрами, даже ногами, но безуспешно, потому что не продвигалась ни на дюйм. Вообще под этими плечами, но еще больше под потерявшим форму и порядок смятым пиджаком происходило какое-то мельтешение, судорожное и отрывочное, которое отсюда, с высоты наблюдательного пункта, разглядеть было невозможно.

Потом раздался стон, он казался слишком звонким для маминого (если это была мама) голоса, слишком не связанным с окружающим миром, даже потусторонним, но не приглушенно подземным, а космическим, воздушным, настолько чистая была взята нота. И тут же мамины руки соскользнули со спины на плечи мужчины и стали упираться в них, отталкивая, отрывая от себя, – Элизабет даже разглядела взбухшие вены на напряженных маминых руках. Динино тело дернулось, пытаясь выскользнуть из-под подминающей его тяжести, лицо ее выглянуло из-за мужского затылка, покрытого просвечивающей шевелюрой, и сразу на поверхность всплыли мамины губы, они двигались и шевелились в горячем шепоте.

Элизабет пригляделась – нет, губы были не мамины, слишком полные, слишком округлые, опухшие, будто маме подменили рот на чужой – неприлично большой, вывороченный, искаженный до неузнаваемости.

– Не надо, – шептали губы, – слышишь, не надо. – Потом они останавливались и лишь после передышки добавляли: – Отпусти. – Снова передышка, и снова одно и то же: – Не надо, слышишь, не надо...

В ответ раздавался мужской шепот, он был быстрый, однообразный, со сдавленным, шипящим присвистом, – Элизабет легко разложила его на слова. Вернее, на всего одно СЛОВО:

– Почему, почему, почему, – почти в такт вырывалось одно за другим.

Мама снова вдавливала ладони в широкие неподдающиеся плечи, зажмуренные глаза ее сдавливались ресницами еще сильнее, так что все лицо исказилось не то от боли, не то от отчаянного напряжения.

– Отпусти. – А потом снова пауза и снова: – Ну, не надо, слышишь, не надо.

Так продолжалось недолго, минуту-две, хотя все зависит от того, кто и как измеряет время, перед Элизабет, например, медленно, зияя черными дырами, проползла вечность. Но и она закончилось, потому что мужской шепот потерял однообразие, в него влилась новая колкая скороговорка:

– Чертовы пуговицы. – Дыхание, движения ногами, бедрами, достаточно комичные движения, особенно когда смотришь сверху. – Подожди секунду. Черт, не получается. Помогите.

– Нет, не здесь, – ответила женщина своими большими, ненатурально вывернутыми губами. – Пусти. Не здесь, – снова повторила она.

– Почему не здесь? Какого черта? – раздался мужской шепот, и поясница снова дернулась в нелепой болезненной судороге. – Столько одежды, а...

– Нет! – почти пронзительно, как будто находясь на режущем острие, повторила женщина. – Пусти, не здесь.

– Да почему, черт возьми? – Мужской шепот звучал контрастно глухо.

– Лизи может проснуться. Пусти, – ответила женщина и еще сильнее нажала ладонями на навалившиеся плечи, и те наконец поддались и отстранились. Да и все массивное тело вдруг сразу съехало, сползло в сторону, а потом тяжело облокотилось на спинку дивана.

Элизабет вздрогнула, услышав свое имя. Само его звучание, застрявшее, казалось, в онемевшем воздухе, возвратило ее сознание, а вместе с ним зрение и слух в ночной дом, расставило по местам окружающие предметы, развело в стороны свет и тени. И оказалось, что мама уже поднялась с дивана и пытается запахнуть халат, но у нее не получается, так мелко вздрагивает ее тело, будто от убийственного, нестерпимого холода. Беспомощные руки снова и снова нащупывали расходящиеся полы, будто ничего в мире не было сейчас важнее – только этот сбившийся халат, только руки, так и не унявшие до конца лихорадочную дрожь.

– Куда пойдем? – напомнил о себе Рассел, он тоже поднялся, снова придвинулся к маме, их лица снова сошлись, хотя мамины руки продолжали судорожно теребить непослушную шелковую материю.

– Ко мне, в спальню, – ответил женский голос, а потом еще: – Я так долго была одна, я волнуюсь, я забыла, как бывает.

Потом они шли к лестнице – медленно, едва передвигаясь, потому что после каждого с трудом пройденного шага им приходилось останавливаться и снова вращать друг в друга как бы в поисках взаимной опоры, и Элизабет успела отползти назад в свою комнату совсем неслышно и затворить за собой дверь, оставив лишь крохотную щелочку. Затем она услышала шаги, слитые попарно, будто один массивный, тяжелый человек пытался утопить свои ступни в мягком ворсистом ковре лестницы.

Элизабет замерла у двери, даже дыхание ее, казалось, остановилось, даже биение сердца притихло; через узкую щелку неплотно закрытой двери она видела лишь полоску коридора перед своей комнатой. Сначала медленно вытянулись тени, а потом появилась мама, поддерживаемая, а лучше сказать – висящая на Расселе, который одной рукой обхватывал ее за талию, а другой подпирал мамин одеревенело согнутый локоть.

Казалось, что мама не в силах идти сама, не в силах нащупать следующий шаг, казалось, это Рассел вел ее, не тащил – ведь она нисколько не упиралась, – а именно вел. Лишь на мгновение перед Элизабет промелькнуло мамино лицо, но она успела разглядеть отрешенный взгляд, опустевший, ничего ровным счетом не выражающий, который, казалось, пытался что-то найти, что-то иллюзорное, доступное только ему одному, но не мог. А еще сморщенный как будто в размышлении лоб, приоткрытые в поиске воздуха раздувшиеся губы; они подрагивали, втягивая с натугой, со сдавленным шумом тяжелый, неподъемный воздух – так бывает у больных людей, замученных приступами астмы.

Потом Элизабет услышала, как открывается дверь маминей спальни, тут же послышалось какое-то трущееся шуршание, будто одеждой об одежду, и сразу дверь закрылась плотным, пробочным хлопком.

Первым порывом Элизабет было снова выскользнуть за порог своей комнаты, неслышно прошмыгнуть по коридору и уткнуться в дверь маминей спальни в попытке уловить изнутри хоть какие-нибудь звуки и по ним уже, раз невозможно подсмотреть, домыслить, дообразить происходящее в комнате. Но она остановила себя. Нет, было бы унижительно стоять на коленках, прислонившись ухом к стыку двери, подслушивать, шпионить. И Элизабет вернулась в свою кровать, и легла, и вытянула в блаженстве сразу обессиленные ноги.

Она лежала с открытыми глазами и даже не пыталась разобраться в скоплении заполнивших ее чувств. Единственное, что она ясно ощущала, – это переполняющую ее волну радости, во-первых, от пережитого приключения, а во-вторых, от непонятного, но чрезвычайно важного знания, которым она овладела. Да и вообще, бог знает, отчего ей было радостно, но засыпала она со счастливой улыбкой на губах.



С этого дня, вернее, с этой ночи в жизни Элизабет произошли два существенных изменения.

Прежде всего в ее жизнь, в повседневную, обыденную жизнь вошел Рассел, хотя бы потому, что он постоянно присутствовал в их доме, постоянно находился при маме. Они то садились в машину и внезапно уезжали, а потом так же внезапно возвращались, то просто сидели либо на кухне за кофе, либо в гостиной, и когда Элизабет возвращалась из школы, она всегда заставала их вдвоем, и по дому разливалась теплая, уютная волна, словно воздух наполнился легкой, сквозной невесомостью.

Радость исходила не только от Рассела, который был, как всегда, весел и полон затей и громкого задорного смеха, но и от мамы тоже. Ее лицо утратило прежнюю, порой не сдержанную нервность и наоборот, приобрело расслабленность и мягкость линий. Даже голос расправился ровными интонациями, словно Дина постоянно пыталась кого-то уговорить, а глаза наполнились ласковым, тихим сиянием, оно даже в солнечный, яркий день добавляло света. Да и вообще все в маме стало размеренно и умиротворенно и даже немного лениво.

Другое изменение, происшедшее в жизни Элизабет, было связано с ее мыслями, с ночными видениями, с мечтаниями, которые имели лишь расплывчатые, неопределенные формы, но все равно тревожили ее. Конечно, они несли в себе романтический заряд, но тем не менее к ним каждый раз примешивались новые странные, расплывчатые, непонятные ей ощущения, которым невозможно было противостоять, но от которых становилось необъяснимо приятно, будто она съела самое вкусное в мире пирожное.

Эти ночные фантазии, в которые она погружалась, особенно перед сном, когда темнота обводила контурами холмы застывших предметов в комнате, хоть и смутно, но запомнились Элизабет на всю жизнь. Многими годами позже, вспоминая свои детские мечтания, она каждый раз удивлялась, каким образом, будучи совсем маленькой девочкой, она могла догадываться о том, что знать ей было совершенно невозможно.

Собственно, было бы неправильно называть истории, которые Элизабет рассказывала себе перед сном, фантазиями или мечтами – они были именно историями, мгновенно придуманными и рассказанными, с явным визуальным рядом, озвученным волнующими диалогами, переплетающимися в ее возбужденном сознании, пока она, утомленная, наконец-то не засыпала.

Эти истории стали ее детской тайной, секретной второй жизнью, которая значила ничуть не меньше, чем привычная реальная жизнь. Поэтому днем она ждала, часто с нетерпением, приближающегося вечера и продолжения не законченных вчера сюжетов. Она никому о них не рассказывала, даже маме, возможно, боясь, что истории покажутся той подозрительно тревожными, ведь Элизабет догадывалась, пусть и интуитивно, что о таком девочкам думать не полагается. Во всяком случае, с точки зрения взрослых.

Впоследствии Элизабет не раз задавалась вопросом: являлись ли ее вечерние фантазии непосредственным результатом той самой подсмотренной в гостиной сцены? Или же просто пришло время ее ранней сексуальности, которая лишь ждала толчка, чтобы проявиться, поднытаться на поверхность, пусть пока только в поздние, уже перемешанные с ночью минуты?

Так месяц проходил за месяцем. Элизабет жила в своем двойном мире: днем, как обычно, школа, подруги, уроки, прочие заботы, которые определяют жизнь девочки, входящей в подростковый возраст. А вечером – очередная история, где присутствовало множество героев, зато героиня была всего одна – она сама.

Постепенно она привыкла к такой жизни, как и к тому, что Рассел находился в доме почти каждый день и каждую ночь, и когда утром перед школой Элизабет еще в ночной рубашке, непричесанная, забежала на кухню, чтобы наспех проглотить кусок овсяного печенья, запивая

его холодным молоком, она почти всегда заставляла Рассела, сидящего за чашкой кофе с «New York Times» на коленях.

Он поднимал всегда веселые глаза, усы его, как бы приклеенные к губам, растягивались в приветливой улыбке, и говорил всегда одно и то же, что-то типа: «Как спалось несравненной принцессе?» Несмотря на ранний час, он, в отличие от Элизабет, был причесан и свеж; синий халат из щекотной на ощупь махровой ткани в сочетании с тоже синими, хотя и другого оттенка, пижамными брюками придавал всей его позе вальяжную расслабленность. Тут же появлялась мама, всегда теперь улыбочивая, она не могла и не стремилась скрыть своего счастья, и счастье это было направлено не только внутрь ее самой, не только на Рассела, но и на дочь тоже.

И все же что-то изменилось в отношении Элизабет к Расселу. Она уже не могла, как прежде, подбежать и со всего разбега влететь в его широкое тело, обхватить руками, уткнуться лицом в темноту, прижаться и на мгновение раствориться в ней. А когда он нагибался, не могла уже обвить его шею и повиснуть на ней, подогнув ноги, и склонить, утащить его ниже, к себе, чтобы безотчетно чмокнуть в щеку. Раньше могла, а теперь уже нет. Будто между нею и им возникла какая-то преграда вроде железной решетки и она не могла ее преодолеть.

Так прошло месяцев семь или восемь, короткая весна быстро обернулась ранним летом, природа щедро налилась яркими цветами, среди которых, конечно, доминировал зеленый, была суббота, солнце палило не хуже, чем в конце июля, и было решено поехать на озеро. Потом еще долго Элизабет не могла забыть этот день; он ничего не изменил в ее жизни, но потряс изрядно.

Они взяли с собой подругу Элизабет, Хэну, и вчетвером подъехали к озеру в мамином «Форде Виктория», затем, как обычно, прямо на траве расстелили широкую, специально предназначенную для пляжа подстилку, вынули парочку складных стульчиков из багажника. Элизабет с подругой тут же скинули легкую одежду, которая еще с утра обременяла жаждающее солнца тело, и сразу бросились в воду. Она уже прогрелась и приняла их, легко расступившись. Был чудесный день; озеро, окруженное сосновым бором, покоилось, отражая лучи, играя бликами; оно, как чаша, залитая расплавленной драгоценной смесью золотого и серебряного, застыло не шелохнувшись и лишь расступалось тяжелыми кругами перед все еще разгоряченными, плещущимися в воде девочками.

В какой-то момент энергия, и до того переполнявшая Элизабет, взяла свое, и она поплыла неровным, немного дерганным брассом сначала вдоль берега, а потом оттуда, где вода зарастала скользкими на ощупь, облепляющими ноги лилиями, к середине. Ей удалось проплыть ярдов шестьдесят, когда она почувствовала скованность движений, — значит, она стала устать и пора было поворачивать к берегу.

В принципе она хорошо плавала, особенно для ее возраста, и могла перейти на саженьки, хотя предпочитала брасс — устает меньше, да и голову не мочишь. Но сейчас, видимо, оттого, что она слишком быстро плыла, приходилось напрягать шею, чтобы удерживать голову над поверхностью озера. Почему-то, хотя не было ни волн, ни даже ряби, в рот стала набираться вода, и хотя Элизабет еще не захлебывалась, выплевывать мокрые, перемешавшиеся со слюной сгустки становилось все труднее.

И тут Элизабет стало страшно; плоская в своей простоте мысль «А что, если я утону?» сначала легко вошла в ее сознание, а потом мгновенно разошлась по телу, сковала его. Это нелепое и, в общем-то, нереальное предположение, от которого поначалу так легко можно было избавиться, вдруг представилось очевидностью; тут же показалось, что ей никогда не проплыть эти последние оставшиеся ярды, и отчаянный, животный страх застучал учащенным сердцебиением.

Элизабет попыталась затянуть в себя побольше воздуха, но воздуха не оказалось, вместо него по легким растеклась вода, и Элизабет подавилась ею и от неожиданности снова глотнула, но снова лишь тяжелую воду, и горлу и особенно груди стало больно, будто в них попала не вода, а нечто едкое, горячее, разрывающее легкие изнутри. Прошло лишь мгновение, но Элизабет уже знала, что она тонет, и от душащего, навалившегося страха она взмахнула безнадежно руками и снова увидела отчетливый берег, зеленую траву, людей, сидящих на подстилке совсем недалеко, и она заработала ногами, пытаясь сбросить, преодолеть их бессилие. Ей удалось вывернуть наизнанку сдавленные легкие, отплеывая воду ртом и носом, и у самой поверхности, почти уже пересекая подрагивающую линию, все же успеть захватить глоток чистого, легкого воздуха. Растекшись по телу, он вытеснил застывшую воду, и Элизабет снова взмахнула руками, пытаясь придать движение своему телу, направить его к берегу. Он казался совсем близким – отчетливый, яркий разноцветный по сравнению с замутненной толщей воды, и Элизабет сделала еще одно движение, затем еще одно, и еще. Берег снова придвинулся; справа, немного в стороне, плескалась Хэна, она что-то кричала ей, смеясь, и тут Элизабет поняла, что доплыла, что не утонула и теперь уже не утонет.

Ей захотелось почувствовать под ногами твердую землю, опереться на нее, выйти из-под власти коварной воды, столь ненадежно удерживающей ее тело, и она в полной уверенности, что ноги вот-вот нащупают твердость дна, с силою направила их в глубину. И тут же потерялась в мутной непрозрачности. Сразу всему телу стало необычайно холодно, будто что-то извилистое заползло под кожу и разбежалось во все стороны, и внутрь ворвалась вода – уже не глоток, как прежде, а целая лавина, и все потому, что рот разом превратился в обыкновенную воронку, втягивающую в себя бесконечные завихрения воды, даже не пытаясь препятствовать.

Что успела почувствовать Элизабет? Прежде всего удивление: «Где же дно?» – мелькнуло в голове, и тут же сразу ужас – не страх, как недавно, а душераздирающий сдавливающий ужас охватил ее, делая все абсолютно бессмысленным, и прежде всего ее саму, Элизабет, – бессмысленной, ненужной, несуществующей. И еще боль, резкая, какой она никогда не испытывала, словно хищное животное заползло в грудь и выедало там безжалостно нутро.

Боль тут же размножилась и покрыла все тело, ударила в голову, выдавливая виски, нос, глаза, и они уже, казалось, готовы были выпасть, выкатиться, чтобы впустить внутрь еще больший поток воды. Ступни ног все еще вытягивались в струнку, еще пытались носочками обнаружить упор дна, но его не было, и ничего не оставалось, как погружаться все глубже в мутную, сгущающуюся темноту. Вверху еще маячило небольшое окошко света, отгороженное и притушенное толщей воды, оно казалось недостижимо далеко, настолько далеко, что до него немислимо было дотянуться. Рядом скользила стайка извилистых змеек, они подрагивали длинными гибкими телами, а потом застывали, как натянутая тетива, и Элизабет не могла догадаться, что эти холодные существа – не что иное, как стебли лилий, прикрепляющие красивые головки цветов к несуществующему призрачному дну.

Одна из змеек скользнула под Элизабет, пытаясь опутать и без того недвижимые ноги, и ее липкое, совершенно бесчувственное касание вызвало в замершем сознании Элизабет новую волну ужаса, выводя его за рамки самого сознания, за рамки ее отяжелевшего, набухшего тела. Ведь сразу стало понятно, что это змейки утаскивают ее вниз от света, от людей, от мамы, чтобы там, внизу, в царстве ледяного, бесчувственного ила разорвать ее на куски.

Эта картина настолько ясно встала перед глазами Элизабет, что ноги в ужасе попытались избавиться от опутывающих оков и последним взбунтовавшимся усилием стали раздвигать воду.

Оказалось, что нависшее над головой водяное скопище не так уж непреодолимо, и Элизабет снова увидела свет и попыталась глотнуть воздух, который, казалось, был рядом, вокруг, везде. Но так только казалось. Потому что горло давно уже было забито жидкостью, и хотя Элизабет пробовала вдохнуть, ее сдавленные легкие не хотели расправляться, и пока она отхарки-

вала поднимавшуюся по горлу слизь, руки перестали удерживать голову над водой и она опять погрузилась вглубь. И все повторилось – Элизабет снова заскользила вниз к недоступному, несуществующему дну.

Но тело, видимо безотчетно, еще пыталось спастись, и ноги и руки продолжали вытворять нелепые, бессмысленные движения, и когда Элизабет снова показалась на поверхности, внутри нее родился крик, отчаянный, пронзительный: «Помогите!» Крик рвался наружу, горло пыталось свести его в членораздельный звук, но звука не получилось. Вместо него с губ сорвался и рухнул, не долетев даже до воды, зажатый, едва различимый хрип, как будто натянулись до предела и тут же лопнули голосовые связки и изуродованное горло не умело больше рождать звуки. Только этот глухой, едва различимый хрип.

Элизабет снова попыталась закричать, но не успела, ее руки, судорожно колошматившие по воде, вспенивая ее, фонтанируя брызгами, не могли удержать на поверхности свинцовое тело, и она опять погрузилась под воду. И опять холодные, скользкие змейки принялись за свое – опутывать, сковывать, наливать ледяной беспомощностью и утаскивать за собою вниз.

Еще несколько раз Элизабет удавалось подняться над водой, еще несколько раз она удивлялась тому, как близок берег, а она вот так глупо тонет вблизи от него. Потом слово «утонуть» перестало удивлять и стало реальностью, утомительное сопротивление показалось бессмысленным, ведь все равно невозможно дышать и единственное, что остается, – это привыкнуть к безумно распирающей, все поглотившей боли и примириться с ней.

Элизабет опускалась вниз. Она еще видела, как, плавно обогнав ее тело, скользнули вниз руки; змейки вокруг нее волновались и вздрагивали от возбужденного напряжения, темнота быстро сгущалась, как будто ночь затаилась в тягучем водяном мире с тем, чтобы потом, позже, выйдя на сушу, заполнить и ее. Наконец ноги Элизабет коснулись дна, но это уже было не важно, потому что боль отступала. Она отдалялась, унося с собой сознание, а значит, можно было успокоиться на мягком ворсистом дне, которое обнимало, укачивало, убаюкивало.

А потом что-то вдруг изменилось, плавность стала дерганой, змейки, которые только что дрожали стоймя, отпрянули в испуге, с самого дна поднялся бестолково кружащийся водоворот, отменяя, отбрасывая Элизабет. В уши надавило тяжелым грохотом, а водоворот все усиливался, переламявая тело в пояснице, возвращая боль – теперь она ранила не только изнутри, но и снаружи, сверху, с боков, вытягивая, расплющивая. И сразу разразилась невероятная яркость, она оказалась лишь добавкой к боли, даже через закрытые веки она корежила голову изнутри.

Тут же возникло мелькание, будто она едет в быстром поезде и высовывается из окна, а боль все нарастала, из груди в голову и снова в грудь она как будто перекатывалась, плескалась внутри. А затем спешка прошла, затихла, сменилась на едва различимый крик, который раздавался где-то далеко-далеко, едва различимо, будто его умышленно заглушают. Кто, что? Наверное, водопад, потоки воды, и крик не может пробиться, и поэтому он глухой, заторможенный, словно играет медленная пластинка на плохом граммофоне. А потом сразу, без перехода, крик прорвался пронзительной лавиной, он наваливался, буравил голову снова и снова, еще истощнее, еще невыносимее, и лишь потом, вдогонку докатился едва осознанным смыслом.

– Лизи! Лизи! Лизи!!! – вопил визжащий, полный истерики голос.

– Положи подушку под голову, – ответил другой, не такой резкий, но очень торопливый, с тяжелой одышкой, дерганный, будто не успевающий.

– Что с ней?! – раздался новый непереносимый крик.

– Убери руки, не мешай, – сменил его торопливый.

– Что с ней? Что, что?! – срывался в панике женский, всхлипывающий голос. А потом сразу без перехода: – Она дышит? А? Дышит? – И тут же еще сильнее: – Она не дышит! Ты видишь? Она не дышит! – И снова все накрылось истеричным криком.

– Не знаю, может быть, не знаю, – снова торопился мужской голос, он был намного дальше, чем тот другой, женский.

– Пульс, пощупай пульс. Пульс есть? – снова заголосил голос вблизи.

– Не знаю, нет времени, – ответил далекий голос, но он откатился еще дальше и теперь уже едва долетал.

А потом на Элизабет обрушилась чугунная гиря, нет, не чугунная, еще тяжелее – невыносимая, тупая, расплюснутая гиря. Она ломала грудную клетку и, наверное, сломала ее, и от пронзительной боли хотелось вскрикнуть, но вскрикнуть было невозможно, потому что живая мягкая пробка плотно закупорила грудь. Давление все нарастало, оно становилось невыносимым, оно требовало выхода, и пробка наконец поддалась, пусть не вся, лишь частично, и не крик, скорее стон, но все же вытек наружу. А вместе с ним пена – мокрая, пузырчатая, она поднималась полупрозрачным шаром из губ и тут же лопалась, чтобы смениться еще одним пузырем.

Давление отпустило, но тут же навалилось новым толчком, еще более тяжелым, более резким, чем предыдущий, и он отколол еще одну часть пробки, и пена вперемешку со стоном снова брызнула рыбными пузырями – Элизабет чувствовала вязкую, липкую струю, выливающуюся из разинутого до предела рта. Ее выворачивало, выкручивало наизнанку, и следующий спешащий толчок утаскивал ее внутренности все выше и выше вверх вместе с новым стоном туда, к открывшемуся, болезненно вздрагивающему горлу.

– Она умерла? – снова взвился душераздирающий вопль. – Да? Она умерла? Она умерла! Умерла! Умерла! – Он бился в воздухе, будто заклинал, будто хотел убедиться в своей правоте, будто только и ждал подтверждения.

Но ему никто не ответил.

Взамен что-то, похожее на тень большой птицы, приглушило свет, и на губах появился ободок – мягкий, податливый, он вздрагивал, щекоча. И снова боль, теперь резкая, будто вращают ножом в груди, самым острием, перекручивая, разделяя на части нежную ткань, и снова давление, но теперь изнутри, постепенное – оно расправляло легкие, вздымая грудь, как будто ее накачивали спрессованным, сжатым воздухом. И тут же еще один толчок сверху, очень быстрый, тяжелый, слишком тяжелый, чтобы пробка смогла его удержать; и наконец она вместе с плотным, накачанным воздухом вылетела, выбитая наружу.

Элизабет так и не успела разобрать, что же она ощутила сначала: освобождение от чужеродной массы внутри или исчезновение растворяющейся в воздухе боли? Или струю воды, которая теперь уже не пузырилась, а фонтанными толчками била из ее измученного горла?

– Спаси ее, спаси, – причитал безумный голос. – Слышишь, только спаси, все для тебя, всегда, все, что угодно, когда захочешь, слышишь? Только спаси... – голосила женщина, но никто ей не отвечал, не разубеждая, но и не обещая. Вместо ответа мягкое, щекотное окаймление снова сошлось на губах Элизабет, и теперь она, почти полностью возвращенная к сознанию, ощутила, как смялись ее вялые губы, а потом словно стая сильных птиц влетела внутрь и разлетелась по ее груди, достигая самого отдаленного уголка, доставая, выталкивая оттуда остатки враждебной, застоявшейся воды. И тут же новый толчок в грудь перевернул Элизабет на бок, и она зашлась хриплым, мучительным кашлем и увидела свою растворенную в воде слюну, почему-то немного розовую, но не испугалась, так как поняла, что не умерла.

Потом она увидела небо; оно было очень далекое и очень глубокое, и Элизабет хотела было приподняться, но не было сил даже двинуть головой, она только могла лежать и смотреть в распахнутое, до предела открытое небо. И еще дышать. Ах, как же хорошо было дышать самой, просто набирать в грудь прозрачный, легкий воздух, чтобы тут же, выделив его живительную часть, насладившись ею, снова впитывать в себя чудесный, бодрящий эликсир.

Никогда прежде Элизабет не получала такого наслаждения от воздуха, от простой способности дышать; она и не догадывалась даже, что обыкновенный воздух может приносить

столько физического удовольствия, что это и есть самое естественное и самое большое счастье. Просто лежать и дышать и смотреть, не двигаясь, в небо, даже не моргая, замерев.

Конечно, тогда, лежа на спине, она не могла ни отчетливо думать, ни оценивать, ни обобщать. Лишь значительно позже Элизабет удалось вспомнить и расставить по порядку первые ощущения возвращающейся жизни. На протяжении многих дней она перебирала их по частям, собирая заново – слух со зрением, боль с освобождением, – потом всплыло невероятно глубокое небо, вспомнилось счастье от входящего в легкие воздуха. Именно тогда Элизабет и удивилась парадоксу истинного счастья – кто бы мог подумать, что простая возможность дышать и есть счастье! Потом она не раз пыталась воссоздать свою связь с воздухом, старалась заново испытать восторг от элементарного вдоха, но уже не могла. Во всяком случае, в полной, только ей известной мере.

Тогда же или даже еще позже она поняла, что вот так нелепо и, в общем-то, случайно она в первый раз почувствовала на своих губах мужские губы. Так она вспомнила и про мягкий упругий ободок, и про податливость своих собственных губ, и про щекотание, по-видимому, нежестких усов, даже запах одеколона, исходящий от гладко выбритого холеного лица.

На протяжении нескольких лет Элизабет представляла в ставших давно привычными ночных фантазиях банальную сцену, как будто подсмотренную, а потом перенесенную в жизнь из плохого фильма: распростертое, безжизненное тело на земле (это как бы она, но не совсем – возраст не определен, да и черты лица не вполне различимы), над телом бьется большой сильный мужчина (это как бы Рассел, но тоже не совсем он). Потом мужчина наклоняется к лицу девушки, его губы нависают над ее губами, они замирают на мгновение, а потом медленно соединяются.

Конечно, из романтической картинки исчезли розовые пузыри изо рта, и ужас ожидаемой смерти, и режущая боль, и холод сковывающей воды. Ужас, боль, смыкающаяся над головой вода, растворенный до исчезновения свет – все они находились в другом видении, в ночном, и Элизабет часто просыпалась от маминого истошного вопля – пустого, лишённого интонации, обращенного, казалось, только в немое бессмысленное пространство. И уже сидя на кровати с открытыми, полными мутной растерянности глазами, потерявшись во времени и реальности, она видела мамино лицо – смертельно белое, пергаментное, как будто посыпанное густой засохшей пудрой, – а в ушах звенел сбившийся, задыхающийся мамин голос. Голос давился фразами и пытался выплеснуть их все вместе, общей кучей, но и у него не получалось, и оттого, наверное, он выбивал их из себя по слогам, по раздавленным разорванным частичкам. И Элизабет ощущала поднимающуюся теплую волну, и ей хотелось плакать от чувств, от своей любви к маме и от маминой любви к ней.

Несколько лет Элизабет даже не могла приблизиться к воде, да и потом ей потребовалось время, чтобы пересилить себя и войти в нее. Постепенно она преодолела себя и снова стала плавать, разрезая послушную воду уже более ловкими, окрепшими руками. Но страшные ночные кошмары еще долго преследовали ее, как и совершенно другое видение, где взрослый большой мужчина склоняется над беспомощной девушкой, распростертой на земле.

Еще одно событие, которое ясно запомнилось Элизабет, произошло приблизительно через месяц. Лето уже было в полном разгаре, в природе доминировали зеленые цвета, ну и еще, если смотреть вверх, – голубые. По дому растекался вечер буднего дня, впрочем, будничность его не имела значения – было лето, а значит, каникулы, и Элизабет ложилась спать позже обычного.

Они были вдвоем – она и мама, Рассел отсутствовал, и Элизабет не знала, где он и когда придет, вроде бы он уехал по делам в город. Они сидели в гостиной: мягкий притушенный свет в комнате, казалось, вобрал в себя тени уставших за день домашних предметов: изящный буфет

у стенки, два кресла, вместе с диваном окружившие приземистый кофейный столик, а еще легкие занавески на окнах, впитавшие в себя за длинный день мешанину солнечных бликов; те сами, казалось, искали убежище в ячейках тонкой, прохладной материи. Но теперь, вечером, видимо отдохнувшие, они отрывались от приютивших их занавесок, разбавляя приглушенным светом сгустки навалившегося на комнату вечера.

От этого мягкого, зыбкого света мамино лицо выглядело расслабленным, его черты будто сгладились, придав ему еще большую мягкость.

– Как ты думаешь, Лизи, – спросила мама, – нам будет хорошо, если Рассел переедет к нам жить насовсем?

Элизабет не поняла вопроса – Рассел и так находился в их доме целыми днями.

– Ты выйдешь за него замуж? – догадалась она.

– Не знаю... наверное, – произнесла мама в раздумье, – наверное, да. Я думаю, да. Хотя мы не говорили с ним об этом.

Элизабет молчала, она хотела что-нибудь сказать, подбодрить маму, но не знала, что именно.

– Понимаешь, – продолжала мама, – мне кажется, что так будет лучше для всех нас. И для меня, и для тебя тоже. Он ведь хорошо относится к тебе, мне даже кажется, что он любит тебя. Как ты думаешь?

– Не знаю, – ответила Элизабет.

Она действительно не знала. Ей было безразлично, переедет Рассел или нет, ей больше хотелось смотреть на маму, на ее любимое, сейчас особенно выразительное лицо, на ее глаза, полные лучистой, заботливой нежности. Настолько заботливой, что можно, казалось, поймать в ладонь пучок тонких лучиков, зажать их посередине и потом, уведя от маминых глаз, носить с собой и освещать ими, как фонариком, темноту.

– Когда он переедет к нам? – спросила Элизабет.

– Наверное, через месяц. Ему надо завершить там, в городе, какие-то свои дела. Но я хотела сначала поговорить с тобой. Мне важно знать твое мнение. Как ты относишься к Расселу?

– Нормально, – ответила Элизабет и, почувствовав, что этого недостаточно, добавила: – Хорошо. Конечно, хорошо, мама.

– Но он нравится тебе? – спросила мама.

– Конечно. – Элизабет пожала плечами. – Он красивый, умный, веселый. Потом он еще...

Элизабет видела, как с каждым ее словом лучики, струящиеся из маминых глаз, становятся все ярче и ярче, и только ради них, этих веселых, счастливых лучиков, ей хотелось продолжать:

– Потом, он еще всегда, как это сказать... – Она задумалась, подбирая ускользающее слово, но так и не подобрала. – С ним легко. Он всем нравится, всем девочкам в классе. Они говорят, что нам повезло, и тебе, и мне. Многие мне говорили, и Хэна тоже. Он беззаботный, – вдруг выпрыгнуло на поверхность утерянное было слово.

– Правда девочки так говорят? Смешно, – улыбнулась мама.

– Правда, – подтвердила Элизабет. И они замолчали. Элизабет не знала, что сказать еще, и смотрела на маму, ей казалось, что мама тоже не знает. Или знает, просто не может решиться.

– Понимаешь, Лизи, я люблю его. – Мама опустила глаза и стала разглядывать свои руки, сложенные на коленях. – Я уверена, ты поймешь, ты уже взрослая и умная девочка и наверняка понимаешь, что так бывает, когда мужчина и женщина любят друг друга.

Элизабет кивнула. Мама говорила медленно, сбиваясь на паузы, видно было, что она с трудом подбирает слова.

– Да, мама, я знаю, – сказала она, чтобы помочь Дине. Та только кивнула.

– Так вот, мне кажется, что и он любит меня.

«Как папа?» – хотела было спросить Элизабет, но вовремя осеклась. Она сама чувствовала, наверное, интуитивно, что про папу сейчас лучше не вспоминать. Хотя спросить все же хотелось. Почему? Может быть, как раз для того, чтобы увидеть мамину внезапную растерянность, ее замешательство?

Ну, а что касается Рассела, то и так было очевидно – маму нельзя не любить. Ведь она была самая красивая не только среди всех остальных мам, но и вообще среди всех женщин, которых Элизабет знала: в школе, например, или просто встречала на улице. Порой она видела красивую женщину и сразу же безотчетно сравнивала ее с мамой – только лишь для того, чтобы тут же с гордостью признать, что мама все же лучше.

Вот так упрощенно оценивала мир Элизабет своими детскими глазами. Хотя вообще-то красота часто вторична и далеко не она определяет женскую притягательность. Притягательность – загадочное свойство, его непросто объяснить, разложить на составляющие. Поди разберись, что именно останавливает взгляд, поди найди то неуловимое, что выделяет из толпы и манит за собой.

Не так ли в живописи, когда одно полотно, единственное среди многих, вдруг тормозит рассеянное внимание и приковывает к себе и не дает оторваться? И вглядываешься, и пытаешься понять, выделить, чем именно, какой деталью оно завораживает, в чем секрет, и стоишь застывшим истуканом, и силишься и не можешь понять. Потому что притягательность неуловима, она в нюансах, в едва различимых мазках, каждый из которых бессмысленно неразборчив, они лишь в совокупности составляют то, что остается во времени.

Так было и с Диной: мягкая пластичность скользила в ее теле – в осанке, в походке, в округлости плеч, рук, груди; поэтому ей шли плотно облегающие платья или зимние толстые, тоже плотно облегающие свитера. Они выделяли и без того сглаженные переходы, и во всем теле доминировала плавность, будто плотная, непрерывная струя водопада выгнулась упругим, прозрачным, светящимся потоком, и стоит только подставить под него руку, как он разобьется на отдельные податливые струи.

Они еще поговорили, мать и дочь, – о будущем, о предполагаемом счастье. В общем-то, обычный разговор, когда молодая женщина делится своими мечтами, – типичная, можно сказать – банальная история. Но в памяти Элизабет остался и сам разговор, и мама, ее лучистый, налившийся радостным умиротворением взгляд, ее мягкий, плавный голос. Остался именно потому, что она больше никогда не видела Дину такой счастливой.

Прошел еще месяц или полтора. Случилось так, что Элизабет вернулась из школы раньше обычного (учебный год лишь начался). Дома никого не было, казалось, что гостиная затоплена светом от бьющего из всех окон солнца, и только когда глаза свыклись с яркостью, Элизабет заметила на кофейном столике листы писчей бумаги, придавленные связкой ключей. Связка оказалась небольшой – всего два ключа, они выглядели знакомыми, Элизабет повертела их в руках – ну конечно же, это были ключи от их дома. Она взяла первый прижатый листок и начала читать.

Почерк был взрослый, плотный, мелкий, слова порой сливались, и надо было напрягать зрение, чтобы выделить каждое из них и разобрать. И только лишь потому, что важность письма казалась абсолютно очевидной, Элизабет все же справилась с набегающими друг на друга буквами, и выстроенные в предложения слова стали приобретать единственный заданный им смысл.

*Милая Дина, я знаю, что написанное ниже поразит тебя неожиданностью. Впрочем, начну с пояснения – я предпочел письмо откровенному разговору, потому что разговор ничего, кроме лишних эмоций, не нужных ни тебе, ни мне, не мог, да и не может принести. Конечно, я соглашусь с тобой – письмо малодушно, но при чем тут малодушие, к тому же я не антич-*



ный какой-нибудь Тесей, да и ты не Минотавр (впрочем, сравнение неудачное – но не буду уже переписывать). Хотя мы, конечно же, если все же продолжит сравнение, забрались в лабиринт, из которого настало время выбираться.

Ты подарила мне чудесный, замечательный год, да что там год – ты подарила мне чудесную, восхитительную жизнь, ну, а миру ты подарила еще одну замечательную пьесу, которую, если бы тебя не было рядом, я не сумел бы написать. Я сначала хотел сказать «скрасила год», но тут же понял, что такая фраза была бы несправедливо цинична (а я если и циник, то циник благодарный), вот и хочу подчеркнуть – ты именно подарила мне год, удлинила мне жизнь, точно я прожил лишний, не предназначенный мне отрезок.

Ведь действительно, что бы мне оставалось делать здесь, в глуши, в деревенской размеренной определенности, если бы не появилась ты – великолепная, роскошная и в то же время тонкая, чувственная муза, Мельпомена (она ведь заведовала театром), непредвиденная и оттого еще более чарующая. Поверь, ты открыла для меня новый эмоциональный мир, который мне – городскому, капризному и, с точки зрения твоего чистого взгляда, испорченному человеку – казался совершенно недоступен.

Но все, как мы знаем, имеет конец, даже незапланированное счастье. И хотя не хочется вспоминать про еще более, чем я, циничного царя Соломона с его обидным «Все проходит...», но что же делать, придется. Год прошел, пьеса закончена, и хотя любовь, наверное, еще бесчинствует в моем сердце, я вынужден ее варварски искоренить. Потому что, поверь мне, милая Дина, лучше оставить теплую, трепещущую в сердце любовь, чтобы проживать ее снова и снова в томительных воспоминаниях, нежели участвовать в ее насильственном преждевременном умерщвлении, а после ужасаться и передергивать плечами, сторонясь ее холодеющего трупа. Поверь мне, так лучше, я знаю!

Пойми, как бы – мне этого ни хотелось, жить здесь я не смогу, а взять тебя с собой невозможно, потому что я человек не семейный, абсолютно, неизлечимо не семейный. К тому же воспитывать ребенка (я уже не говорю «не своего» – его биологическое происхождение в любом случае не такой уж принципиальный для меня факт) задача для меня совершенно непосильная. Для того чтобы приходиться детям по душе, надо постоянно подстраиваться под них, а постоянно подстраиваться всегда и подо всех – крайне утомительное занятие. Особенно для меня. К тому же, и это я говорю с искренним сожалением, дети так медленно растут.

Итак, что я должен добавить, переходя к завершающей части моего несомненно любовного послания? Что мне до боли жаль! Что мне до боли обидно! И восклицательные знаки в конце предложений не являются лишней синтаксической формальностью – нет, я именно так и хочу выкрикнуть: мне жаль! Мне обидно! И если бы я видел хоть какой-нибудь шанс удержать тебя (или, вернее, удержаться с тобой), я бы – непременно им воспользовался. Но я не вижу его! Его нет!

А посему прощай. Кто знает, может, судьба нас еще и сведет вместе, ну, а если нет – будь счастлива. Я от всей своей истекающей слезами души желаю тебе любви и счастья.

Со всеми описанными выше чувствами,  
Рассел.

*P.S. Поцелуй от меня свою чудесную дочурку. Она, кстати, вырастет, и уже достаточно скоро, в очаровательную юную женщину. Будь внимательна к ней.*

Конечно, Элизабет поняла значение прочитанного, возможно, она не вникла сразу во все нюансы, наверное, пропустила особенно запутанные витиеватости письма, но общий важный смысл несомненно уловила. И хотя ее он совсем не расстроил, она все же испугалась за маму – не только умом, но и сердцем тоже. Ведь было очевидно, что маме нанесен удар. И хотя

полную разрушающую силу этого удара Элизабет оценить не могла, но маму ей сразу стало очень жалко.

Она не хотела становиться свидетелем маминой боли, маминого разочарования и потому, положив листки обратно на стол и так же придавив их сверху связкой ключей, поднялась наверх к себе в комнату, прикрыла дверь и стала ждать.

Ждать пришлось недолго, вскоре она услышала, как открылась входная дверь, потом – шаги по паркету.

– Лизи! – крикнула мама, но Элизабет не откликнулась, как будто не слышала. – Лизи, – повторил мамин голос, – ты уже дома?

Элизабет снова промолчала, и мама больше не окликала ее. Снизу вообще не доносилось никаких звуков, ни шагов, ни шорохов, как будто там осталась только лишь одна немая пустота. Так продолжалось долго. Элизабет полежала на кровати, листая книгу, встала, пересела к столу, потом решила переодеться и сняла платье, в котором ходила в школу. Натянула майку, короткие шорты, белые гольфы до колен, снова прыгнула на кровать, снова открыла книгу.

Снизу не доносилось ни звука. Прошел, наверное, час, а то и больше, наконец Элизабет оторвалась от книги, подошла к окну, посмотрела на залитую светом лужайку перед домом.

«Почему так тихо внизу? – подумала Элизабет, не отрывая взгляда от яркого, едва шевелящегося на ветру травяного настила. Она не могла различить отдельных травинки; единая, сросшаяся зеленая, колышущаяся масса, казалось, заморозила ее. – А вдруг с мамой что-нибудь случилось? А что, если она потеряла сознание? Или умерла... – От одной этой мысли Элизабет стало страшно, она знала, что ей надо оторваться от окна, бежать вниз, но она не смогла. – Может быть, мама прочитала письмо и у нее разорвалось сердце? – снова подумала Элизабет. – И сейчас она лежит на полу и ей нужна помощь?» Она представила Дину на полу, в неудобной позе на боку, руки неловко разбросаны в стороны. Видение было настолько сильным, настолько легко затмило гипнотическую траву за окном, что Элизабет тут же бросилась вон из комнаты.

Уже на лестнице она поняла, что мама не умерла, не потеряла сознание, а просто сидит за столом: растрепанные волосы загораживали ее лицо, казалось, она не слышит ни поспешных шагов Элизабет, ни ее оклика. Лишь когда дочка подошла вплотную, из-под густой занавеси прядей показалась щека – почему-то красная, почти багровая, как будто кто-то ударил маму по щеке, – потом проступил тоже покрасневший, опухший, нос, словно его натерли прозрачным разжиженным кремом.

– А, ты пришла, Лизи, – сказала мама голосом, в котором не осталось ничего живого.

И, видимо, от усилия выдавить из себя хоть какие-то слова, еще одна прядь сдвинулась в сторону, открывая мамины глаза. Если можно представить боль в виде застывшего сгустка, то именно его увидела Элизабет. Мамин взгляд был пронизан болью, наполнен ею – заразной, передающейся по воздуху, и Элизабет тут же почувствовала, как у нее тоже защемило сердце и дыхание сжалось в один невозможный вздох и сразу зашевелилось в носу, и хотя она попыталась сдержаться, перед глазами все расплылось и потеряло четкость.

Ей стало бесконечно жалко маму – красивую, умную, нежную, самую лучшую, но такую несчастную, – и она обняла мамину шею, и прижалась, и замерла так. Динины руки подхватили ее, и Элизабет прошептала куда-то в мамины волосы:

– Я читала. – И так как ей показалось, что мама не поняла, она повторила: – Я читала письмо, мама.

Своей щекой она чувствовала болезненный жар маминой щеки, ритмичное покачивание головы, как в ритуальной молитве, как в медитации. И снова молчание, и снова покачивание, а затем лишь слабый голос, повторяющий однообразно: «Он бросил нас, Лизи, он бросил нас, он бросил...»

Два или три дня мама не выходила из дома. Она бродила по нему с самого раннего утра и постоянно пила соки, воду, что-то другое, что она мешала в нервно жужжащем миксере, отчего по кухне расплзался приторный, едкий запах. Зато она ничего не ела, вообще ничего, и потому, наверное, осунулась, похудела, а еще постоянно молчала, не произносила вообще ни одного слова, и только когда Элизабет задавала ей какой-нибудь вопрос, она вздрагивала, будто возвращаясь откуда-то.

«А? Что? Что ты сказала, Лизи?» – переспрашивала она, и когда Элизабет повторяла, мама уже могла ответить, но все равно лишь равнодушным, слишком скучным, лишенным интонаций голосом.

Вместо еды она постоянно принимала ванну, по несколько раз в день и каждый раз по часу, а то и более. Выходила она из ванны немного оживленнее, и тогда в первые несколько минут даже пыталась заговорить с Элизабет.

– Может быть, мне поехать в Нью-Йорк, поговорить с ним? – обычно спрашивала Дина. Но тут же, не дожидаясь ответа, возражала самой себе: – Да куда я поеду? – И голос ее звучал совсем безнадежно, а потом она добавляла: – Да и что мне сказать? Мне нечего сказать ему. – И замолкала. И потом снова долго молчала.

О чем она думала все эти дни, Элизабет не знала. Лишь потом, много лет спустя, на своем собственном опыте поняла: ни о чем. Вообще ни о чем.

Такое состояние и называется прострацией, парализующим шоком, который отпускает, конечно, но лишь потом, со временем. А сначала он заполняет безмолвностью, неподвижностью, безволием, потребностью отлежаться, как будто сам организм требует передышки, отдыха от придавившей своей тяжестью жизни. Тогда он находит глубокое, темное пространство, нечто наподобие норы, замкнутой ямы, только без краев, без стен, чтобы в ней можно было забыться, погрузиться в пустоту.

Потом, повзрослев, Элизабет не раз задавалась вопросом: что же привело маму к краху, нанесло ей более сильный удар – потеря любимого человека (а она несомненно любила Рассела) или же внезапность самой потери, неподготовленность к ней? Оказалось, что различия нет, крах потому и называется крахом, что он всеобъемлющ, он не выбирает, не отсеивает, а крушит все вокруг жестоко, заваливая обломками.

Вот и для Дины потеря означала и страх за будущее, и рухнувшие надежды, и унижение, испытанное от чтения пошлого, лицемерного письма, и боль от примитивного предательства – боль, которую она не умела, да и не пыталась преодолеть.

...Дина стала оживать лишь через несколько дней – в доме заканчивались продукты, и хотя у нее самой аппетит пропал, но дочь-то надо было кормить. А значит, хочешь не хочешь, но ей пришлось поехать в магазин, а для этого одеться, привести себя в порядок, иными словами, взять себя в руки.

Еще через пару дней она подозвала Элизабет и усадила рядом. Голос ее не утратил усталой, безжизненной монотонности, словно с каждым звуком, с каждым словом выдавливалась с трудом сдерживаемая тяжесть. Тяжесть выходила наружу вместе со вздохами, они нарушали слитность фраз, и Элизабет казалось, что это невидимые каменные ядра выкатываются каждый раз из маминой груди.

– Мне уже лучше, Лизи, – сказала мама, оборвав фразу вздохом. – Ты знаешь, мне было плохо. – Вздох, пауза. – Ты ведь, наверное, заметила. – Еще вздох, как будто не хватает дыхания. – Ты ведь умная девочка, ты все понимаешь. – Пауза. – Но теперь лучше. Так должно было произойти.

Элизабет молчала.

– Все было так очевидно. Это просто я дура. Как я могла не понимать? Как в тумане. Как заколдованная. – Снова молчание, долгое, растягивающее податливые секунды. – Но теперь лучше. Теперь все будет хорошо. Просто должно было пройти время. Понимаешь?

Тут Элизабет кивнула, она понимала. Ее кивок совпал с еще одним длительным, тягостным вздохом.

– Все будет в порядке, все снова будет, как прежде, как всегда. – Дине пришлось опять прерваться, чтобы восстановить дыхание. – Совсем скоро, – добавила она.

И Элизабет кивнула:

– Да, мама. Я знаю. – Она прижалась губами к маминой щеке и в это мгновение как бы срослась с ней, разделяя, принимая на себя ее горе, деля его надвое, как бы облегчая мамину часть.

Все так и произошло, как обещала Дина, – жизнь действительно скоро вошла в привычную колею и прочно оставалась в ней, во всяком случае, на протяжении нескольких последующих лет.

\* \* \*

Дождь существенно поднадоел, даже не сам дождь, он и моросит-то не постоянно, а скорее общая сырая, однообразная угрюмость. Почему-то сразу чувствуешь себя так, будто осталась одна в этом скорбном мире, а те люди, что маячат вокруг, и не люди вовсе, а так – бледные, беспризорные тени.

Даже незамысловатый Карлос, похоже, поддался общему унынию. И я его понимаю – как ему, бедняжке, теперь оттачивать свои природные рефлексy, когда оббикиинные девочки дружно перекочевали с насиженных (вернее, налеганных) настилок у бассейна во внутренние убежища? И хотя они по-прежнему покачивают, проходя мимо, плавными бедрами, но вот беда – бедра теперь зашторены, и надо делать усилие, чтобы представить, как же там все устроено под подло скрывающей детали материей. А делать усилие, представлять, иными словами, измываться над собой – нет, это не для моего бедного, легко возбудимого мальчика.

Особенно угнетают облака. Только здесь, в Альпах, они так низко опускаются к земле, нанизывают себя на верхушки окружающих гор, наваливаются на них своими рванными мягкими брюхами, так что наша покачивающаяся на дне долина напоминает эдакую гигантскую чашу. Даже не чашу, а лоханку, в которую налили кипятка, и теперь нависший пар плотной тяжелой пеленой отделяет ее от всего остального пространства. Вот это правильное сравнение – именно замкнутость пространства и определяет сегодня мою суть, а значит, и мое настроение, и желания.

Конечно, в запасе остаются фитнес и сауна и парочка крытых бассейнов, ну и Карлос, пусть и удрученный, но мне и такого достаточно. И тем не менее все равно чувствуешь себя пленницей, заключенной в...

Бог ты мой, что я пишу, какая «пленница», куда «заключенная»? Нет, метафоры определенно не вышло.

А тут еще целую вечность не появлялся мой работающий соавтор Анатолий с его пронзительным взглядом, как-то он все очень серьезно воспринял – и наш уговор, и писательский совместный наш труд. Уже дней десять я его не видела, он наглухо заперся у себя и носа наружу не высовывает, даже обеды в номер заказывает. Кто бы ожидал от симпатичного мужчины такого упорного старания – вот так дни и ночи напролет облекать в текст мое повествование.

Можно бы, конечно, заподозрить, что он занят чем-то другим, но десять дней подряд все же многовато, даже мой натренированный на любовные марафоны Карлос столько без передышки не потянет. Да и я сама в лучшие свои годы через пару-тройку дней стремилась вернуться наружу, к свету, так сказать.

Я и раньше слышала, что главное в писательском деле – не талант даже, а усидчивое терпение, погруженность в процесс, и многие просто не выдерживают добровольного заточения, скверно воздействующего на психику. Впрочем, талант тоже не помешает. Я даже знаю пару счастливых случаев, когда одно с другим – талант и терпение – успешно сочетались.

Но сегодня меня ждал приятный сюрприз. Нет, морозящая сырость не рассосалась, просто с утра появился мой маститый соавтор, он уже за завтраком помахал мне приветливо рукой, на что я ответила еще более приветливой улыбкой.

Через полчаса мы расположились в баре за столиком у окна, дневной свет, хоть и рассеянный, хоть и молочный, тусклый, кое-как просачивался сквозь влажные тучи, пусть и не добавляя жизнерадостности, но все же противостоял депрессивному электрическому освещению.

Что сказать про выбравшегося из добровольного заточения господина Тосса? Он изменился за время нашей разлуки, и, увы, не в лучшую сторону. Видимо, процесс на пользу ему не пошел. Во-первых, у него отросла неряшливая щетина, еще только обещающая стать русой с проседью бородкой. Теперь он был похож на усталого, постаревшего мушкетера, каких изображают на иллюстрациях к романам одного из Дюма.

Он вообще выглядел утомленным, мой подневольный Анатоль, как будто проскакал двадцать лье на лошади без седла (это тоже по ассоциации с Дюма). К тому же он осунулся, да и в глазах, каких-то непривычно серых, появилось отчуждение. Словно в них за короткие десять дней была сооружена каменная преграда, через которую не так-то просто перемахнуть. Особенно в мои-то лета.

Видимо, я слишком пристально разглядывала его.

– Ну, что вы там затаили, не держите в себе, – заметил он весьма, надо признать, проныцательно.

– Вы выглядите утомленным, дорогой мсье Анатоль. Хотя утомленность придает вам некий шарм – какую-то уязвимость и связанную с ней одухотворенность. А знаете ли вы, Анатоль, что женщина легко замечает мужскую уязвимость и предпочитает пользоваться ею. Женщин притягивают уязвимые мужчины, не ущербные, а именно уязвимые.

Он молчал, слушал мою распушенную болтовню, все так же держа меня на расстоянии. Возможно, ему, как и любому только выпущенному из заточения человеку, было приятно услышать человеческий голос.

Потом принесли напитки: мне – красного вина, он заказал скотч и тут же опрокинул полстакана. Я не сомневалась, что и вторую половину вскоре ждет та же участь. Анатоль заметил мой многозначительный взгляд и произнес, как бы поясняя:

– Привык. Я, знаете ли, стимулирую себя, когда пишу.

– Правда? – удивилась я. – И не мешает? Ну, я имею в виду, мысли, стилю и вообще изложению.

– Нет, – он даже покачал головой, усиливая отрицание, – наоборот, способствует. Концентрация улучшается, да и появляется дополнительная легкость. – Он замялся. – Знаете, картины оживают. – Снова помолчал, еще раз глотнул янтарной жидкости. – И пишешь не словами, а живыми картинками.

Я послушно закивала, делая вид, что просто схватываю его мысли на лету.

– Вообще приближение к Богу требует отточенности. И умственной, и эмоциональной тоже.

– Приближение к Богу? – не выдержала я явного перебора.

– Конечно! – Он тоже удивился, видимо, моему удивлению. – Когда пишешь, приближаешься к Богу, становишься пророком, через которого Бог передает свои заветы. Тут самое

сложное – ухватить посылаемый Божественный импульс, разобрать его, расшифровать. Впрочем, это мало кому удавалось.

«Вы шутите?» – хотела спросить я, но меня когда-то прилично воспитали, и я сдержалась. Впрочем, зарвавшийся мсье Тосс не заметил ни моего иронического взгляда, ни вздернутых удивленно бровей. Похоже, он твердо решил развивать сомнительную свою теорию, невзирая на насмешливую соавторшу.

– Знаете, есть такой банальный вопрос: «Как вы стали писать, почему?» Всем писателям его задают, и мне тоже. В интервью, на авторских встречах. Я никогда на него не отвечаю, во всяком случае, откровенно. Откровенность делает тебя беззащитным.

Тут Анатолий снова остановился и, как я и предполагала, сначала примерился к остаткам в бокале, а потом разом опрокинул их в себя.

– Так вот, я никому не говорил, – вернулся уже захмелевший Анатолий к повествованию, – что я пишу только потому, что чувствую свое предназначение. С самого детства, с рождения, понимаете? – Я кивнула, вроде бы я понимала. – Такая внутренняя уверенность, что жизнь твоя не случайна, что в ней заложено предназначение, задание, которое ты должен выполнить. Иными словами, что ты ниспослан миру с конкретной миссией. Ты можешь ее выполнить, а можешь и не суметь. И если не сумел, то значит, не оправдал надежды, значит, не выполнил миссию. – Тут он наконец замолчал, я подумала, что монолог завершен, но он добавил, правда, коротко, одной фразой: – А это, наверное, очень больно – не исполнить свое предназначение.

– Так что, – вмешалась я, – все те люди, которые творят, вы ведь, надеюсь, не ограничиваете творчество литературой, – все они пророки, которым мы должны внимать? А их ведь легионы, тьма-тьмущая. Не много ли носителей Божественной мысли?

– А кто сказал, что пророков не может быть много? – снова ошарашил меня подвыпивший маэстро. – Пусть будет много, разве нам лишние пророчества помешают? – Тут Анатолий заговорщицки придвинулся ко мне. – Знаете, чем они отличаются от основной массы? – Я не знала и потому откинулась на спинку кресла, подальше от тяжелого алкогольного перегара. – Их пророчества остаются во времени! – заключил глубокомысленно мой собеседник.

Тут он подозвал официанта и заказал себе еще один двойной скотч. Я хотела было поинтересоваться, не много ли будет для утра, но деликатно промолчала.

– Да и к тому же что есть та единственная, Божественная мысль, о которой мы говорили? Вернее не «что», а «про что» она?

– Про что же? – проявила я здоровый интерес.

– Знаете, в природе любое, казалось бы, неделимое целое все же распадается на составные части. Так и главный вопрос, он тоже распадается на множество других вопросов, более мелких. Самые важные из них – вечные, философские: кто мы, откуда, зачем мы здесь и куда уйдем, что такое жизнь и что есть смерть? Ну и другие: как возник мир, что такое Вселенная, пространство и время, и что есть душа, и что есть человек? Что такое будущее и прошлое, чем все закончится, да и закончится ли вообще? Да и в чем он, конец?

Тут ему пришлось остановиться, так как на столе возник новый стакан со скотчем, и Анатолий не замедлил этим воспользоваться.

– Ну а дальше каждый из этих вопросов распадается в свою очередь на множество других, еще более мелких: например, отношения между нами, людьми, – между родителями и детьми, между мужчиной и женщиной. Тут же и будущее человека, и его прошлое, и связанная с ним память, и рождение ребенка, и вот еще вопрос: когда вселяется в младенца душа? Да и многие другие вопросы, которые тоже делятся на более мелкие. А те тоже делятся. Вот и получается, что вопросов становится колоссальное множество. И, только ответив на каждый из них, можно будет в результате подойти к самому главному вопросу, который, повторяю, всего один, который несет Божественную мысль. – Тут страстный оратор выдержал паузу, перевел

дыхание и продолжил: – Так вот, каждый найденный ответ даже на самый ничтожный вопрос и есть пророчество. А это значит, что нам требуется куча пророков, чтобы все их охватить.

– Выходит, что и моя история, из которой, я надеюсь, вы умело мастерите текст, тоже является отголоском Божественного? – спросила я с нескрываемым ехидством.

Но Анатолий ехидства не распознал, он был занят, он нагружал себя спиртоносной жидкостью.

– Безусловно. – Он даже пожал плечами. – В вашей истории множество вопросов, которые относятся к разряду вечных.

– Например? – полюбопытствовала я.

– Мы же только в самом начале; главное, надеюсь, еще впереди, и тем не менее... – Он поморщил лоб, пытаясь совместить ворочавшуюся в голове мысль с двумя стаканами выпитого скотча. – Например, подсознание ребенка, оставшегося в раннем детстве без отца. Или, например, влияние личной жизни матери, в том числе ее сексуальной жизни, на развитие дочери. Вот интересный вопрос: каким образом присутствие в жизни матери постороннего мужчины влияет на детскую психику, на детскую сексуальность? Да и сама детская сексуальность – вопрос загадочный, требующий не одного, а множества ответов.

– Ну, и как пишется? Ответы находятся? – задала я еще один ехидный вопрос.

Впрочем, от Анатолия мое ехидство, похоже, весьма упруго отскакивало. Он присматривался к желтоватым остаткам в стакане, покачивая его в руке, отчего поверхность жидкости колыхалась сразу всей плоскостью.

– Тяжело пишется. – Он вздохнул для пущей убедительности. – Невероятно сложно описывать детскую сексуальность. Знаете, с одной стороны, хочется писать предельно правдиво, а с другой – необходимо не перейти грань. Ведь самое запретное табу для любого взрослого – это детская сексуальность. Хотя мы все были детьми и сами испытали, пережили ее, проверили на себе. Почему же нельзя, даже на основании собственного опыта, честно говорить о ней?

– А действительно, почему? – подбодрила я Анатолия, потому что я вообще привыкла подбадривать забредших в тупик соавторов.

Тут он оглянулся, ища взглядом официанта, но официанта рядом не оказалось. Пришлось снова наморщить лоб в тяжелом раздумье.

– Видимо, расстояние между детством и зрелостью слишком велико. Не только с точки зрения времени, но и в плане осознания мира, осознания собственного Я. К тому же взрослые плохо помнят себя в детстве, путают ощущения, впечатления, приписывают их разным обстоятельствам, разным временным промежуткам. Поэтому их воспоминания не вызывают доверия. А значит, вмешательство взрослого в такой деликатный вопрос, как ранняя сексуальность, выглядит искусственным, даже беспардонным. Ну, и общественное мнение таково, что взрослый не имеет права вторгаться своими нечистыми помыслами, рассуждениями, логикой в детскую невинность.

Тут Анатолий замолчал, снова поискал глазами официанта, на этот раз нашел и указал пальцем на опустевший стакан. Смышленный швейцарец в белом накрахмаленном фартучке понимающе кивнул, даже, по-моему, щелкнул каблучками.

– Ну, и вторая причина, – продолжил Анатолий, – более прагматическая, заключается в страхе примитивной педофилии. Ведь нас всех, особенно тех, у кого есть дети, пугает даже намек на педофилию. И получается, что сам вопрос детской сексуальности, когда его поднимает взрослый человек, вызывает подозрение. Уж нет ли тут личного патологического интереса?

– Вполне законное беспокойство, – вставила я. – Мало ли больных людей в мире?

– Ну да, конечно, интерес порой связан с помыслами. – Тут Анатолий пожал плечами. – Но порой ведь и не связан. Может же существовать чисто академический интерес.

– Милый мой соавтор, – поддержала его я, – меня не нужно убеждать. Ведь, в конце концов, кто погружает вас в свою собственную детскую историю, как не я? О чьей детской сексуальности вы, бедный мой летописец, стремитесь поведать дотошной публике?

– Ну да, – вяло согласился мсье Тосс, а потом добавил: – Но вы-то рассказываете только мне, а я должен переложить ваш рассказ на бумагу, сделать достоянием читателя. – Он покачал головой, как бы соглашаясь сам с собой, и повторил: – Трудно, очень трудно.

– Не волнуйтесь, дальше будет еще труднее, – подбодрила я соавтора.

Он хотел было ответить, но тут на столе появился новый стакан, от него даже на расстоянии приятно пахло дорогим алкоголем. Не мешкая, Анатолий плеснул алкоголь в себя, прислушиваясь к растекающейся в организме горячительной жидкости.

Я огляделась. Дождь за окном не преставал сыпать – откуда там наверху столько берется? А вместе с дождем на землю скатывалась все та же мерзкая, печальная серость.

Потом я осмотрела зал и обнаружила моего Карлоса в спортивном костюме, он, видимо, только что оставил в покое многочисленные тренажеры, на которых оттачивал свои и не без того отточенные прелести. Ну и, конечно, сразу подсел к парочке белокурых ровесниц и даже стал развлекать их чем-то словесным, отчего юные создания доверчиво захихикали.

«Интересно, что он им навешивает? – подумала я. – Какие такие истории? А что, если про детскую сексуальность? Вот было бы забавно... Хотя, к сожалению, маловероятно. Карлос и вдохновенное слово – две вещи несовместные. Вот Карлос и вдохновение безмолвное – это да! Это всем понятно. Потому две белокурые подружки и подбадривают смехом, окрыляют, так сказать, смуглого юношу надеждой. Совершенно пустой и ненужной, кстати».

Анатолий же откинулся назад, на спинку податливого кресла, вслед за мной обвел блуждающим взглядом полупустое кафе.

– А ваш юноша забавный мальчуган, – озвучил мои мысли Анатолий. – Как его имя?.., ах да, вспомнил – Карлсон. – Я не стала поправлять – швед так швед.

– Вот взять хотя бы вашего Карлсона... – начал было Анатолий, но тут я заартачилась.

– Не надо его брать, – предложила я, но не слишком настойчиво. – Что он плохого вам сделал?

– Почему не надо? Давайте возьмем. Почему бы нам не развлечься? У меня, знаете ли, после утомительного заточения есть потребность почудить немного, – сознался мастер художественного слова. – Карлсон! – вдруг громко позвал он. И тут же снова: – Карлсон!

Как ни странно, Карлос откликнулся на мужской зов. Видимо, натренированная привычка откликаться на призыв дала о себе знать, на любой призыв, даже когда к тебе обращаются, коверкая твоё имя. Я решила не вмешиваться, словосочетание «подвыпившие писатели чуют» вносило ободряющую надежду в серый, тоскливо морозящий день.

– Иди к нам, старик Карлсон, – пристал к Карлосу разнузданный литератор.

Моему несчастному мальчику ничего не оставалось, как подняться как бы нехотя, а на самом деле, картинно двинув выступающими из-под обтягивающей майки мышцами (я-то все его врожденные приемчики хорошо знаю) – так что девочки за столиком несдержанно уставились на него, пытаясь проникнуть взглядами туда, под майку, – и неторопливо, даже с достоинством направиться к нам.

– Садись, старик, – предложил гостеприимный Анатолий. – Хочешь скотча хорошего? – Он уже поднял руку, подзывая официанта, но мой барельефный любовник остановил нетрезвое движение нетрезвого человека.

– Нет, спасибо, для меня рано.

Конечно, я порадовалась за него, мое сердце даже наполнилось гордостью. Он не только красив, мой бесподобный Карлос, он еще и наделен благородством, очевидно, врожденным,



иначе откуда ему еще взяться? «Интересно, – снова подумала я, – что он все же рассказывал тем двум девицам? Вдруг я его недооцениваю, вдруг я в нем чего-нибудь не разглядела?»

– Почему? – любопытствовал пристающий мсье Тосс.

– Я в первой половине дня тренируюсь, – ответил Карлос и для наглядности сократил какой-то там бицепс-трицепс на своем полуогленном плече.

«Нет, – возразила я сама себе, наблюдая, как у Анатоля от накатившей радости глаза поменяли цвет: был серый и тут же возник голубой. – Ничего-то я не упустила. Все, как было задумано природой, так и есть».

– Тренируешься – это хорошо, – одобрил лучезарный провокатор. – На каких, расскажи мне, снарядах? А то мне тоже надо бы форму восстановить, знаешь, совсем потерял ее из-за сидячей работы.

– Хотите, – простодушно предложил мой наемный возлюбленный, – завтра вместе пойдем на фитнес? Я вам покажу несколько легких упражнений для начала. – И не было в его словах ни надменности, ни превосходства, лишь доброе, человеческое желание помочь.

Но коварный Анатолий не спешил броситься в объятия коллективной физподготовки. Он подался вперед, нависнув над столом, в голосе у него появились доверительные нотки.

– Это ты сам все накачал, всю эту свою мускулатуру? – спросил он простодушно. – Никто не помогал?

Мой горделивый мальчик наконец почувствовал подвох.

– А что? – спросил он с опаской.

– Да нет, я просто так. А можно потрогать?

Ах, какие страшные сомнения стали раздирать моего мальчика, адское напряжение отразилось на его челе.

– Ну потрогайте, – все же великодушно позволил он.

Анатолий просто подскочил на стуле от радости. Он еще больше перегнулся через столик и, ощупывая неестественные утолщения на оголенных загорелых предплечьях Карлоса, приговаривал восхищенно:

– Вот это да! Ну, ты даешь, старик! Такой бицепс отрастил. Ты, Карлсон, просто мастер. Я горжусь тобой, нет, правда горжусь...

Я с трудом удерживалась от хохота, сцена была невероятно комичной: смуглый юный Карлос приподнял согнутые в локтях руки до уровня головы и так поднатужился, что стал еще смуглее обычного. Бицепсы его налились и раздались вдвое больше обычного, да еще под майкой в районе груди набухло, стало выпирать и проситься наружу. И вот этого греческого бога, представшего перед нами, понурыми земными обитателями, во всей своей красе, ощупывает, перегнувшись через столик, небритый, явно пьяный, совсем не смуглый, мало выпирающий Анатолий.

Описанной сценой любовалась не только я, она привлекла всех, кто находился в кафе. Человек двадцать вертели головами, пытаясь понять, что же происходит за нашим столиком. Девушки – те две, которых Карлос покинул ради Анатоля, – в отличие от меня не считали нужным сдерживать смех.

– Девушки, – позвал их едкий ценитель чужих бицепсов, – не желаете насладиться мужской плотью? Идите к нам.

Конечно же они поспешили приобщиться к процессу. Карлос, кстати, вовсе не возражал, более того – когда девушки подошли, он еще сильнее напряг свою фигуру.

Теперь его уже трогали трое, и я было подумала, что пора прекратить это измывательство, но в такой серый, скучный день цепляешься буквально за все. И я не прекратила.

Постепенно стали подтягиваться новые любители мужской плоти, и скоро вокруг нашего столика собралось еще человек шесть-семь. Обступив нас плотной толпой, кто с бокалом в руке, а большинство в очевидном подпитии (повторяю, день был скучный), они обсуждали

вслух Карлосовы прелести, трогая его за оголенные бугорки. Он же, дурачок, воспринимал происходящее как должное и продолжал самозабвенно выпячивать свою мускулатуру. «Странный, конечно, юноша, – подумала я. – Да где другого сейчас найдешь?»

– Хорошо, господа, достаточно. Наконец я решила прервать развлечение. – Карлос, голубчик, опусти, пожалуйста, руки, – велела я молодому, но незатейливому богу. Тот послушался, но нехотя, мне показалось, даже с обидой.

А вот Анатолий слушаться не пожелал. Он окинул меня лучистым взглядом, не спеша, с очевидным удовольствием сделал глоток из стакана и обратился к окружающим:

– Друзья, как вы полагаете, будут ли у меня шансы на победу, если я сойду с нашим героем в рукопашном поединке? Или не будут?

Я только покачала головой – какие же новые фантазии завладели хмельной головой мсье Тосса? Впрочем, так как ситуация спонтанно оживилась и заметно улучшала общий тонус, я пока решила не вмешиваться.

Похоже, неожиданный вопрос озадачил присутствующих. Все молчали, но Анатолий пристально обвел взглядом каждого, и кто-то не выдержал и признался со сдержанным смешком:

– Мало у вас шансов. Совсем мало.

– А другие как думают? – Мой зарвавшийся соавтор перевел свой лучистый взгляд на остальных зрителей. И те сразу загалдели, зашумели, и из общего гула я уловила единогласное сомнение в бойцовских способностях Анатолия.

– А я думаю, у меня есть шанс, – не согласился камикадзе, – и не один. Как ты считаешь, Карлсон?

– Вы не обижайтесь, Анатолий, – ответил мой красавчик великодушно, – но я думаю, что шансов у вас нет. – И тут же одарил всех нас яркой, тоже великодушной улыбкой.

– Ну что же, – не унимался любитель рукопашной, – кто поддержит меня? Никто? – Он еще раз обвел взглядом присутствующих. – Ставка, скажем, сотня. Раз никто, я сам ставлю на себя. – И он достал из кармана пиджака кошелек и извлек оттуда купюру в сто евро. – Найдется еще хоть одна отважная душа?

– А знаете что, – неожиданно согласилась одна из двух белокурых девиц, – я, пожалуй, буду за вас. Сколько вы сказали – сто?

Она открыла сумочку и выложила деньги на стол. Неожиданная поддержка вызвала заметное оживление. Голоса, смех, шутки – все слилось; народ полез за деньгами, рядом с Карлосом возникла приземистая стопка денег. Мальчик растерянно посмотрел на меня, и его влажному, бархатному взгляду я отказать не смогла.

– На, возьми, – передала я ему сотню, – это твоя ставка. Сама я решила не ставить, выбирать между возлюбленным и соавтором – дело неблагоприятное.

– А что, вы действительно драться будете? Кулаками? – полюбопытствовала девица, та, которая поставила на Анатолия. Потому как все остальные выбрали силу, молодость и красоту.

– Да ладно, что мы, гладиаторы, что ли? – удивился Анатолий. – Смотри-ка, старик, – обратился он теперь к своему сопернику, – крови им захотелось. – И сразу ко всем остальным: – Он же меня убьет тут же. – И снова к Карлосу: – Мы же с тобой, старик, люди цивилизованные. Мы увечья друг другу наносить не собираемся. Как же нам лучше разрешить наш принципиальный спор? – задумчиво размышлял Анатолий. – Может, будем канат перетягивать, вон снимем с девушки платок... а? – Он указал на девушку с платком.

Карлос тоже задумался, серьезно, основательно. Сцена выглядела крайне комично, все вокруг страшно радовались, на шум и смех подходили все новые зрители.

– Нет, – наконец не согласился Карлос, – платок может не выдержать, порвется. Да и короткий он. Давайте лучше на руках... – И он, согнув руку в локте, крепко установил его на стол и растопырил ладонь, показывая своей петушиной стойкой, что абсолютно готов к бескомпромиссному бою.

– Ну что же, – легко согласился петух постарше, – на руках так на руках.

Он поднялся со стула, снял пиджак. В принципе у него были достаточно широкие плечи, да и мышцы под рубашкой тоже обнаружились. Если бы его не ставить рядом с Карлосом, он бы вообще выглядел вполне атлетично.

– А что, если ты проиграешь, старик? – хитро предположил Анатолий, усаживаясь крепче на стуле, даже поерзал, видимо, в поисках оптимальной для зада позиции. – Я ведь тогда все деньги заберу. А тут немало накопилось. – Он указал взглядом на высокую стопочку.

– Ну что же, – великодушно согласился Карлос, – тогда заберете.

– Конечно, заберу, – подтвердил хвастливый писака. – Ты ведь сам знаешь, что и тридцати секунд не продержишься. Только людей подведешь, – он обвел взглядом окружающих, – а они доверились тебе, денег не пожалели. Нехорошо, старичок.

Его голос звучал настолько уверенно, даже безапелляционно, что если бы не лучистое веселье, наотмашь бьющее из глаз, можно было бы предположить, что он говорит серьезно. Похоже, даже Карлос засомневался и как-то притих.

– Посмотрим-посмотрим, – заметил он слишком уж философски.

– Вы будете судьей, – назначил меня Анатолий. – Вы самая нейтральная здесь. – И, тут же смерив меня демонстративно подозрительным взглядом, не в силах остановить расплывающуюся улыбку, переспросил: – Вы нейтральная?

– Нейтральная, нейтральная, – успокоила я его.

Я, конечно, не одобряла происходящего на моих глазах измышательства над хоть и платным, но все равно иногда близким для меня юношей. Но с другой стороны, несолидный мсье Тосс предупредил меня заранее, что собирается чудить. К тому же тот факт, что Карлос будет вскоре вознагражден и морально и, что для него важнее, – материально, меня успокаивало.

А вот достопочтенная, как говорится, публика была несказанно, абсолютно, невыносимо счастлива еще и оттого, что серый, тусклый день вдруг разом заполнился непредвиденным и оттого еще более ценным развлечением.

– Ну давайте, сэр, вашу ладонь, – обратился насмешник к Карлосу и тоже хлопнул согнутым локтем по столу, растопырил пальцы, весь напряжился – в общем, проявил себя знатком в армрестлинге. – Давайте, мадам, отсчитывайте.

Что отсчитывать, я не знала, и потому, просто подождав секунд десять, пока их ладони приносятся друг к другу, спросила как могла строго: «Готовы?» – на что оба бойца ответили утвердительно. Я выдержала еще одну короткую паузу, а потом вскрикнула слишком уж энергичным для своего возраста голосом: «Начали!»

Как они оба напряглись! Любо-дорого было смотреть. Оба покраснели: ну, Карлоса я таким уже наблюдала, а вот физически взволнованного Анатолия мне прежде встречать не приходилось. А жаль! Он мелко подрагивал скрещенной в противоборстве рукой, упираясь всем телом, его лицо, как пишут в романах, исказила гримаса – но не страсти или испуга, а всепоглощающей концентрации. Рот растянулся, глаза сузились, по искаженному лицу во все стороны побежали морщины, казалось, что ему больно, что он подвергается мучительной пытке. Хотя никакой пытке он не подвергался, сам придумал это дурачество для своего же собственного удовольствия.

А вот мой рельефный избранник выглядел божественно невозмутимым – ни тебе морщин, ни зверского выражения на лице. Спокойно, легко, даже вдохновенно у него получалось, не менее вдохновенно, чем во время иных физических упражнений, за которыми мне не раз удавалось наблюдать.

Я перевела взгляд на их руки – в конце концов, именно ими мальчики и состязались – и с изумлением обнаружила, что они практически не сдвинулись с места, как стояли где-то посередине, так и продолжали стоять, лишь подрагивали мелко от напряжения.

– И это все, что ты умеешь? – процедил Анатолий на удивление внятно искривленным, скрежещущим ртом.

Мой благородный Карлос ничего не ответил, лишь покраснел еще сильнее. Вернее, не покраснел, а поскольку был смугл, побелел скорее.

Народ вокруг хоть и затих поначалу, но теперь не выдержал и снова загалдел, активно выплескивая свои эмоции, болея в большинстве своем за молодость и красоту. А как же иначе, деньги ведь не зря поставлены. Лишь авантюрная блондинистая девица по-прежнему предпочитала зрелость и опыт.

А зрелость между тем продолжала подначивать молодость всеми возможными способами.

– Давай, давай, – скрежетал ядовито Анатолий, – жми, ну чего ты? Ну напрягись, покажи людям силу. Зря, что ли, ты качаешься по утрам? Или не можешь больше? Ну хочешь, попроси кого-нибудь помочь.

Неизвестно, донимали ли Карлоса заносчивые комментарии, но виду он не подавал, только тужился еще сильнее. Рука его вздулась до невероятной толщины, и не знаю, как насчет эстетики – я, например, сторонница пропорциональных размеров, – но с точки зрения общих объемов выглядела внушительно. Думаю, что женщины, присутствующие здесь, не могли не впечатлиться таким чудом.

Тем не менее руки обоих моих мужчин, стиснутые в тесном рукопожатии, почти не двигались с места, так и застыли посередине. Я-то была убеждена, что их соперничество закончится мгновенной победой молодости и напора, но Анатолий, видимо, тоже оказался, как говорится, не лыком шит и успешно противостоял. Я, да и не только я, – остальная публика тоже заметно зауважала его, и оказалось, что конечный результат уже и не так важен, процесс захватывал куда сильнее.

Так они застыли минуты на две или больше, я не засекала. Анатолий все подначивал безответного Карлоса едкими репликами, но тот не подавал виду, и тогда коварный искуситель попытался его примитивно подкупить:

– Третью всей ставки тебе. Если сейчас сдашься. Слово чести. Получишь третью. Давай решайся. – Но Карлос не мог решиться. – Смотри, не сдашься прямо сейчас – ничего не получишь, – пригрозил взяточник.

Он продолжал уговаривать, но Карлос был неподкупен, а публика просто лезла на стену от смеха и удовольствия. Я тоже радовалась, но тихо, про себя, не нарушая свой судейский нейтралитет.

Потом наконец-то руки качнулись – совсем немного, но взаимное сцепление все же переместилось в сторону Анатолия, его рука подломилась, что означало, что силы покидают упорного, но утомленного бойца. Стало понятно, что еще какая-нибудь минута – и ладонь Анатолия будет придавлена к жесткому, безучастному столу.

Вокруг стало совсем шумно. Болельщики, позабыв о материальном, в смысле о сделанных ставках, в основном стали поддерживать слабеющую сторону, и возбужденные, нетрезвые голоса рикошетом отражались от стен гулкого помещения. Сразу возникло общее, коллективное возбуждение, когда каждый хлопает в ладоши, говорит, не слушая соседа, пытается отпустить очередную, только что изобретенную шутку. И все при этом смеются, переглядываются, – в общем, полнейшая ажитация, сбивающая концентрацию, отвлекающая.

Вот я и пропустила. Что-то случилось, а я пропустила. Сначала казалось, что рука Анатолия подломилась, так стремительно она, припечатанная сверху смуглой ладонью, стала падать вниз и, лишь не дойдя до поверхности стола каких-нибудь пяти сантиметров, резко затормозила.

И сразу же что-то произошло, я не поняла, что именно, какое-то движение под столом, стремительное, едва различимое, оно тут же оборвалось приглушенным, сдавленным звуком.

Карлос как-то неловко вздохнул, дернулся, но было поздно – сцепленные руки метнулись в противоположную сторону, и никто не успел разобрать, как это могло случиться, почему ладонь Карлоса оказалась намертво прижата к плоскости стола. А Анатолий с невероятно довольным, просто-таки садистским видом продолжал пригвозждать ее к поверхности, как будто хотел втереть ее туда.

Наконец он поднял лицо к зрителям, радостные лучики плескались в его глазах, а вместе с ними несдержанное, даже неприличное для взрослого человека озорное счастье.

– Я же тебе говорил, предлагал треть, – обратился он к несчастному побежденному. – А ты на принцип пошел. Глупый, заметь, принцип. – И Анатолий встал из-за стола, победно подняв руки.

Никто не мог понять, что же такое произошло, как могло случиться, что богоподобный Карлос оказался так неожиданно посрамлен. И прежде всего сам Карлос. Время шло, а он никак не мог прийти в себя. Но как только пришел, так заорал:

– Это нечестно! Так нельзя. Он ударил меня под столом. Он меня ударил ногой. – Он взмахнул руками и снова закричал: – Так нечестно! Надо заново, он меня ударил.

Он обращался то к одному, то к другому, ища поддержки у разнузданной, легковесной публики. Но поддержка не находилась. Лишь один высокий, полноватый мужчина посочувствовал, повздыхал вместе с ним, даже поинтересовался: «Куда он тебя?» А потом, кивая понимающе головой, поделился, видимо, собственным, опытом: «Да, в мягкое – это больно», – и снова сочувственно вздохнул.

Все совсем развеселились – смеялись, кричали, галдели, поздравляя чемпиона, а мне стало жалко моего мальчика, он чуть не плакал и все продолжал попусту негодовать.

– Так нечестно, – повторял он, – он ударил меня под столом ногой, носком ботинка. – Но его никто не слушал.

Хотя зря он не обратился ко мне, в принципе я могла аннулировать результат, все же я была рефери. Но он почему-то не обратился, и я не аннулировала.

Один лишь победитель постарался утешить побежденного:

– Ничего, старик, привыкай. Дальше хуже будет, – ободряюще похлопал он Карлоса по плечу, как мне показалось, даже с сочувствием. Впрочем, может быть, мне показалось.

А потом нечистоплотный победитель просто подобрал со стола все деньги – и свои и чужие, отыскал глазами ту единственную, которая поверила в него с самого начала, и передал ей аккуратную стопочку.

– Почему бы нам не отметить вместе, ведь это ты окрылила меня на подвиг. Давай возмем шампанского, скотча, ну и чего-нибудь вкусного. Чего-нибудь экзотически не швейцарского. Справишься сама, я пока душ приму? Жду тебя в номере, – и он назвал цифру, которую я и так знала.

Уже выходя из кафе, мсье триумфатор обернулся и, направляя указательный палец в мою сторону, как бы намекая на что-то, о чем только мы вдвоем могли знать, крикнул:

– Завтра! – И хотя я поняла, повторил: – Завтра продолжим.

\* \* \*

Прошло около пяти лет. Элизабет исполнилось уже тринадцать, когда она узнала, что у ее матери появился новый мужчина. Открытие не удивило ее, она вообще не понимала, как мать может обходиться, как Элизабет говорила своим подружкам, «без отношений».

Дело в том, что пять лет для детства – огромный промежуток, и Элизабет никаким образом больше не напоминала того милого и наивного ребенка, каким была прежде.

Она изменилась внешне, вытянулась так, что догнала ростом свою мать, и обещала вырасти еще на дюйм, а то и на полтора. И вообще она стала очень похожей на Дину, не фигу-

рой – сравнивать тринадцатилетнюю девочку и взрослую, миновавшую молодость женщину совершенно ни к чему, – но прежде всего чертами лица, выразительными, полными эмоционального накала, в ее случае еще совсем не реализованного. А кроме того, походкой, жестами и теми едва различимыми нюансами, которые как раз и определяют индивидуальность каждого человека.

Впрочем, изменения, произошедшие с Элизабет, были связаны не только с ее внешностью. Изменился и ее характер, интересы, само восприятие мира и, как следствие, ее отношение к людям в целом и к матери в частности. Ведь Элизабет вошла в тот сложный период, который называется подростковым возрастом.

Она развивалась чуть быстрее своих сверстниц, как обычно развиваются девочки в неполных семьях, лишенные более жесткого, более консервативного отцовского влияния. К тому же материнская личная жизнь, которую невозможно полностью скрыть от детских глаз, создает у девочки-подростка ощущение доступности мужчин и их необходимости в жизни, а значит, разогревает помыслы и воображение ребенка.

Конечно, в нашем случае влияние личной жизни матери на Элизабет было весьма ограниченным. Дину никак нельзя было упрекнуть в легкомыслии – за десять лет с момента смерти ее мужа, отца Элизабет, в ее жизни присутствовал всего один мужчина. Да и то, как мы знаем, Динино отношение к Расселу было весьма серьезным, с надеждой на замужество, на создание семьи. И не ее вина, что Рассел оставил ее.

И все же та самая сцена, которую невольно подсмотрела Элизабет в свой день рождения, не изгладилась из ее памяти. Наоборот, со временем она представлялась ей все живее, все отчетливее, обрамленная все большими деталями, красочными, захватывающими.

Сам Рассел казался ей теперь не просто красивым и мужественным, он принял романтический образ мужчины-завоевателя, которому невозможно ни противостоять, ни отказать. Особенно когда Элизабет вспоминала испуганные, взволнованные мамины глаза, ее прерывистую речь, ее явную беспомощность, физическую и эмоциональную, перед этим высоким и сильным мужчиной.

В своих вечерних воображаемых историях, которые со временем стали отдельным, особым миром, преобладающим порой по интенсивности и красочности над миром реальным, Элизабет ставила себя на место матери, постоянно сравнивая себя с ней. Нет, в отличие от Дины она не была бы взволнованной и испуганной, она бы сумела контролировать и направлять сильные мужские руки и большое тело, которое само наверняка бы стало покорным и отзывчивым.

Именно противопоставление себя Дине, в котором мать обязательно оставалась посрамленной, стало основной темой вечерних фантазий и постепенно перешло в реальную жизнь. Элизабет разглядывала свою мать, оценивая, надо сказать, крайне критически, ее женские качества, подробности ее фигуры. Ей не нравилась ни материнская грудь – слишком большая, по-животному оттянутая, ни объемный, начинающий терять форму зад, ни тяжелые, белые, чересчур налитые икры.

Ни одна деталь материнского тела не выдерживала никакого сравнения с ее, Элизабет, телом, когда она разглядывала себя, стоя у зеркала в своей спальне, обязательно заперев предварительно за собой дверь, чтобы никто не мог отвлечь ее от увлекательного, требующего приятной концентрации созерцания.

Ей нравилось в себе абсолютно все – небольшая, округлая грудь, прогнутая в изгибе спина, крепкие упругие ноги, даже кожа у нее была другая, даже походка более легкая, невесомая... И Элизабет делала несколько шагов, игриво ступая сначала на носок и лишь потом на всю ступню, провожая в зеркале свое обнаженное отражение до тех пор, пока оно не исчезало из золоченой рамы.

Ей нравились движения рук, когда пальцы, тонкие, длинные, двигались по груди и плавно переходили на живот, плотный, чуть выпуклый, и ладонь ощущала упругую податливую теплоту, и непонятно, от чего исходила большая радостная истома – то ли от ладони, то ли от самого живота. А скорее всего от прикосновения кожи к коже, теплоты к теплоте, и ознобная струйка пробегала по спине, и надо было передернуть плечами, чтобы избавиться от нее.

Элизабет пододвигала к зеркалу кресло, залезала в него с ногами и вглядывалась в свои глаза, как они широко открывались от изумления, – ей нравился ее немного диковатый, неземной взгляд. А потом она опускала глаза ниже, к руке, которая вслед за взглядом сама уже ползла вниз, медленно, плавно, потому что некуда было спешить, потому что время растворилось в ней, перестало существовать. Или наоборот – это Элизабет растворилась во времени, какая разница, – ведь оставались только широко раскрытые, изумленные глаза и извивающаяся рука на красивом, поблескивающем влажными крупинками животе.

Она еще разглядывала себя какое-то время, подробно, каждый раз удивляясь причудливости деталей, пока свет не начинал досаждать, и тогда ей приходилось вставать с кресла и перебираться на кровать, стоящую тут же, неподалеку. И она падала в нее лицом вниз, уткнувшись в мягкое одеяло, чтобы не проникло ни света, ни тени, только слитные картинки внутри плотно сжатых век. Все начинало мутиться и постепенно исчезать, одно за другим, постепенно, оставляя только звучащие невдалеке всплески слов, расплывчатые образы двух людей, мужчины и женщины, ее собственное, мелко вздрагивающее тело и неудержимую силу, устремляющуюся от живота не только вниз, скрывая ноги, но и мутной волной окутывающую голову, так что потом уже ничто не имело значения, ни голоса, ни картинки перед глазами – вообще ничто.

Потом, когда потрясенная, каждый раз не понимая до конца, что именно с ней произошло, она лежала без движения, приходя в себя, и мир снова просачивался в нее своим светом, звуками, формами предметов, Элизабет думала, что Рассел, конечно же, не случайно бросил ее мать. Дина просто не сумела удержать красивого, чувственного мужчину – ни телом, раздавшимся и потерявшим стройность, ни слишком преданным, докучливым собачьим взглядом, ни руками с полными, лишенными артистической гибкости пальцами, которые не могут так томительно скользить, как умеют пальцы Элизабет.

Еще она думала, что если бы на месте матери была она, то Рассел никогда бы не посмел уехать один в Нью-Йорк, во всем, конечно же, вина матери, и в какой-то момент Элизабет начинала жалеть, как ей казалось, немолодую, усталую, несчастную Дину. В конце концов, говорила она себе, мама не виновата, что она недостаточно умела в том, в чем не мешало бы быть умелой.

Изменения, произошедшие в жизни семьи Бреман, были связаны, как ни банально это звучит, прежде всего с бытовыми проблемами. Дело в том, что дом, в котором жили Дина и Элизабет – большой, вместительный, построенный в классическом викторианском стиле и когда-то нарядный и богатый, – со временем все больше ветшал, терял первоначальный вид и переставал отвечать требованиям уютной, наполненной повседневным удобством жизни.

Нет, стены не покосились, крыша не протекала, и все основные системы – отопление, электричество, газ – работали исправно. Признаки упадка касались прежде всего мелочей: половицы скрипели все докучливее, дверные петли покосились, краска поблекла и начала шелушиться, а местами даже отлетать. Да и раковины постоянно засорялись, что вызывало нешуточную панику особенно у Дины: ее начинало подташнивать при виде мутной мыльной жидкости, которая, стремительно раздуваясь, грозила выплеснуться через край.

По понятным причинам ни мать, ни дочь не могли предотвратить медленного, но неуклонного обветшания дома. И перед Диной маячила неприятная перспектива ремонта,

которой она противилась всей душой. Ведь для того, чтобы освободить рабочее пространство для ремонтной бригады, им с Элизабет необходимо было пусть временно, но выехать из дома. А куда, в гостиницу? Поломать налаженную, размеренную жизнь? А как же дочь, а как же она сама?

Затем ей пришла в голову другая мысль: им нужен работник, этакий «мастер на все руки», который, не нарушая их привычной жизни, желательно незаметно будет подправлять, подбивать, прочищать, подкрашивать одну комнату за другой, не затрагивая остальных частей дома. Мысль понравилась Дине, и она стала пытаться ее реализовать.

Впрочем, вскоре выяснилось, что задача невыполнима. Можно, конечно, было нанять бригаду рабочих, но постоянное присутствие в доме оравы громкоголосых, неопрятных мужиков не входило в Динины планы. Отдельных мастеровых, которых рекомендовали Дине ее знакомые, перспектива длительного вялотекущего ремонта не прельщала. Их интересовали проекты краткосрочные, которые можно выполнить за несколько дней, получить оплату по максимуму и двинуться на другой объект. А к Дине надо было приезжать каждый день, да еще бог знает сколько недель подряд...

Оставался последний вариант. На их участке, в тридцати метрах от дома, находился маленький коттедж, куда сваливали за ненадобностью старые ненужные вещи – мебель, книги, надоевшую утварь. Одну половину коттеджа можно было освободить и обустроить под временное жилье, в котором мог бы разместиться работник.

Но кто захочет покинуть свой собственный дом, семью, друзей – и ради чего? Ради того, чтобы жить в плохоньком, заваленном хламом коттедже и каждый день не переставая возиться в чужом, большом, трещащем по швам доме?

Рабочие продолжали приходить, торопливо, напористо осматривали фронт нескончаемых работ, что-то записывали, соображали. А потом разводили руками и, находя любые отговорки, отказывались и с облегчением уезжали на своих маленьких открытых грузовичках, ругая себя за зря потраченное время. Так продолжалось больше месяца, и с каждым новым днем Дина приходила во все большее отчаяние, в нервное, беспомощное смятение: ей казалось, что никого не удастся найти, хоть сама надевай комбинезон и бери в руки малярную кисть.

Но в результате ее упорство было вознаграждено. Невысокий, медлительный, немолодой человек в коричневом потертом пиджаке долго и придирчиво осматривал комнату за комнатой, неловко задирая голову, забавно вертя ею. Он напоминал усталую птицу, которая осторожно вытягивает шею, чтобы подхватить с руки мякиш хлеба. Осмотр занял около часа, а потом Дина повела мужчину в кухню, где предложила ему на выбор кофе, сок, колу или минеральную воду.

– Простите, я не расслышала с первого раза ваше имя, – смущенно улыбнулась она, наливая кофе в две большие фарфоровые чашки.

– Да-да, конечно, – закивал работник, соглашаясь, и неловкая, виноватая улыбка растянула его узкие неровные губы. – Имя у меня длинное, на английском его непросто выговорить, зовите меня Влэд, так будет проще.

– Влэд, – повторила Дина, – так вы могли бы взяться за ремонт дома? Я уже говорила, мне бы хотелось, чтобы ремонт шел постепенно, комната за комнатой. Чтобы мы с дочерью могли продолжать жить здесь.

– Да-да, я понимаю, – снова закивал Влэд, и снова виноватая улыбка тронула его длинные, растянутые губы. – Думаю, я смог бы взяться за ремонт, только... – Он отхлебнул из чашки кофе и как бы засомневался: неуверенный жест руки, взгляд темных, смущенно скользящих глаз. – Знаете, ремонт ведь растянется надолго, а мне к вам ездить неудобно каждый день. Я живу далеко, а машины у меня пока еще нет.



– Вы могли бы жить здесь, – предложила Дина. – У нас, если вы заметили, вот там, – она махнула рукой на лужайку, – маленький домик, коттедж. В нем давно никто не жил, но вообще-то его вполне можно приспособить для жилья. Думаю, вам было бы в нем удобно, в нем все есть – ванна, даже маленькая кухня. Хотя обедать вы могли бы у нас. Но если вам захочется что-нибудь приготовить самому, то пожалуйста, это тоже вполне возможно. Только там надо все проверить, прежде всего плиту, работает ли.

Она говорила, а сама думала, что ничего не знает о человеке, которого собирается нанять на работу. Она даже не знает, каким образом он появился у нее, кто его направил, – перед ней за последнее время промелькнуло столько похожих друг на друга мужчин в рабочих комбинезонах, столько записок с рекомендациями, что она совсем запуталась.

«Конечно же, – подумала она, – мне следует расспросить его, кто он, откуда, ведь он даже не похож на рабочего. А еще акцент, у него совершенно очевидный акцент, какой-то европейский». Но какой именно, этого Дина определить не могла.

– Да вы не беспокойтесь, я все проверю, исправлю, если потребуется, – снова смущенно улыбнулся Влэд. – Так что вскоре смогу переехать к вам... – он тут же перебил себя и, видимо, испугавшись собственной оговорки, даже замахал руками, – я имею в виду – в коттедж, вон тот, о котором вы говорили.

Они еще обсуждали ремонт, оплату за работу, отдельную смету на материалы, когда сначала хлопнула входная дверь, раздались быстрые легкие шаги и в кухню влетела вернувшаяся из школы Элизабет. Увидев незнакомого мужчину за кухонным столом, она попыталась сдерживать очевидное возбуждение, но, так и не сумев, подбежала к Дине и прижалась к ней своим стройным гибким телом.

– Мама, – произнесла Элизабет звенящим от восторга голосом, – меня приняли в театр! Представляешь, только одну меня из всех девочек нашего класса! – И она прижалась к Дининому плечу, и обхватила мать за голову, и звучно поцеловала ее в щеку.

– Как чудесно! – Дина тоже обняла дочь. – Я так рада за тебя, солнышко. Но давай поговорим об этом чуть позже. А сейчас я хочу тебе представить мистера Влэда, он будет у нас делать ремонт. А поселится он в нашем коттедже, чтобы не тратить время на дорогу. Влэд, это моя дочь Элизабет, – обратилась она к мужчине, который, забыв про кофе, внимательно разглядывал мать и дочь сразу погрузневшими, казалось, даже повлажневшими глазами.

– Очень приятно, – кивнул мужчина и почему-то тяжело, печально вздохнул.

– Что вы вздыхаете? – удивилась Дина и не смогла сдержать улыбку. Влэд вздохнул снова.

– Да видите ли, вы вдвоем так чудесно смотрите. На вас обеих достаточно посмотреть, чтобы понять, что вы счастливы, что любите друг друга. От вас исходит тепло и, как бы сказать... – он запнулся, – наверное, уют прекрасной, доброй, слаженной семьи. – Его голос немного задрожал, возможно, от волнения, и оттого акцент еще сильнее проявился в каждом слове.

Он вообще говорил не так, как обычно говорят простые рабочие. Да и не выглядел как рабочий – его одежда, пусть заношенная, потертая, но опрятная, была даже в каком-то смысле элегантна: белая рубашка без галстука с расстегнутой верхней пуговицей, серые отглаженные брюки и коричневый в толстый рубчик пиджак с немного полинявшими локтями. Лицом он тоже не походил на пролетария, оно казалось слишком эмоциональным, легко откликающимся на чувство и так же легко чувство выражающим. Все оно было каким-то неправильным, асимметричным, перекрученным, что ли, возможно, от многих мелких морщин, неравномерно разрезавших лоб, скулы у глаз на отдельно возникшие островки. Нос был длинный и тоже неровный, кривой, и такие же длинные, неровные, узкие губы. Темно-каштановые, почти черные волосы начинали седеть, но пока что только у висков, – наверное, ему было где-то около сорока, хотя выглядел он старше.

– А где ваша семья? Вы живете один? – воспользовалась Дина возможностью выведать о нем как можно больше – в конце концов, этот совершенно незнакомый человек будет ежедневно находиться в их доме.

– Да я ведь приезжий, – снова тяжело вздохнул Влэд. – Я не так давно в Америке. Я эмигрировал в эту страну, – продолжал пояснять он, и морщины разрезали его лицо еще резче, а улыбка, неловкая, виноватая, так и не сходила с его губ.

– А откуда вы приехали? – снова поинтересовалась Дина.

– Да где только меня не носило. Пришлось помыкаться. – И Влэд снова вздохнул, видимо, тяжелые вздохи вошли у него в привычку. – В Америку я приехал сразу после войны из Англии. А в Англию я попал в тридцать шестом из Германии, когда нацисты захватили там власть. Хорошо, что мне вовремя удалось ускользнуть. До Германии я какое-то время жил в Праге. А вообще-то... – Тут Влэд задумался, и в кухне возникла пауза. Она разрасталась и заполняла пространство, оседая в воздухе, и казалось, что Влэд колеблется – продолжать или нет. Лоб его собрался в гармошку, в глазах появился вполне различимый налет усталой печали. Он снова вздохнул. – Знаете, я потерял свою семью давно, еще в молодости, и так не смог никогда восстановить... – Он запнулся. – Меня все бросало, бросало. Потом снова потери, война, там ведь в Европе ужасно. Отсюда, из благополучия, даже невозможно представить. – Снова пауза. – Но, знаете, осталось в памяти, так и не вытравилось... Когда я был ребенком и ложился спать, я любил, чтобы дверь в мою спальню оставалась приоткрыта, чтобы луч света из коридора пробивался ко мне... Знаете, он даже не освещал, а приносил с собой звуки дома, его тепло, уют – голоса родителей из гостиной, их разговор, смех; мама что-то рассказывала отцу, а тот лишь отвечал, я не слышал слов, только ритмичные, успокаивающие голоса. А еще шум воды на кухне, это няня мыла посуду, гремела кастрюлями, что-то готовила на утро. Иногда мама, думая, что я уже уснул, садилась за фортепьяно и начинала наигрывать что-то несложное, мелодичное, а отец даже не подпевал, а скорее мурлыкал. И знаете, у меня возникало чувство, что это не лучи света тянутся ко мне в спальню, а лучи любви. Я просто ощущал любовь, можно сказать, физически, мне казалось, я пропитывался ею. И тогда, ребенком, свернувшись калачиком в своей постели, я знал, что я сохранен и отгорожен от окружающего, часто злого, часто несправедливого мира, и буду сохранен, пока существует этот дом и люди, его населяющие. Пока существует любовь, которую они несут.

Он замолчал, лицо его еще больше разделилось на части, как будто на дольки: щеки, лоб, нос – все ушло в разные стороны, а глаза снова подернулись влажной прозрачной пленкой, которая не сползала каплями вниз, а стояла и замерзала, и стекленела с каждой секундой.

– А потом, когда все разрушилось, мне так и не удалось... – У него не получалось унять дрожь в голосе. – Знаете, я в своей жизни поменял множество квартир, домов в разных городах, иногда неплохих квартир в совсем неплохих городах, но так никогда и не получилось... – он снова тяжело вздохнул, – не удалось воссоздать ощущение дома. Дома не в смысле жилья, куда приходишь спать после работы, а дома... – он сбился на мгновение, – где вместе с лучами света тебя греют лучи любви. Приют несложно найти, даже убежище, но дом – так никогда и не удалось.

– А где сейчас ваша семья? – Дина почему-то инстинктивно притянула, прижала к себе стоящую рядом дочь.

– Да все разрушено. Окончательно, полностью. – Влэд пожал плечами, как бы не понимая, кто и зачем разрушил его прошлое. – Ни дома, ни людей, в нем живущих, ни места, – вообще ничего.

– Вы имеете в виду войну? – снова спросила Дина. – Я знаю, я читала, там происходили страшные события, в Европе.

– Не только войну. Но и войну тоже, – расплывчато ответил Влэд и снова замолчал, снова задумался, да так глубоко, что казалось, даже забыл, где он находится, забыл, что рядом люди.

Пауза разрасталась и неуклюже повисала в воздухе. Элизабет посмотрела на мать и округлила в изумлении глаза, мол, что это с ним, может, он того, не в себе? Но тут рассказчик вздрогнул, пальцы его левой руки нервно пробежали по лбу, как бы ощупывая, как бы собирая из многих отдельных кусочков в единое целое.

– И вот сейчас, когда я увидел вас двоих, я, знаете, ощутил первый раз за долгое время... Я ощутил лучи любви, исходящие от вас обеих, я сразу понял, что вы неразлучны сердцами, душами, понимаете? Ваша дочь так сильно любит вас, Дина, она так привязана к вам, поверьте мне, я вижу.

– Я надеюсь, что вы правы, – засмеялась Дина, не зная, как закончить этот неловкий разговор, который вот так неожиданно перешел грань приличий и вторгся в ее личную жизнь, в жизнь ее семьи. – Вы давно занимаетесь ремонтами? – сменила она тему и тут же заметила, как сразу осекся Влэд, как сжалось и обострилось его лицо, как напряглись, потирая одна другую, ладони.

– Я, конечно, не профессионал, – закивал он согласно. – Я занимаюсь ремонтами скорее по необходимости, вот уже больше года, с тех пор как попал в Америку. Но вы не волнуйтесь, я ответственный, аккуратный, и я внимательно осмотрел все и понял, что вам требуется. Тут нет ничего сложного. Думаю, вы останетесь довольны. Необходимые инструменты у меня тоже имеются. – Он снова улыбнулся, снова кривой растянутой улыбкой, казалось, что он все время извиняется.

– Ну что же, чудесно, – закивала Дина, обрадовавшись, что утомительный поиск мастера завершен. – Когда вы сможете приступить?

– Сегодня что, среда? – начал прикидывать Влэд. – Я смогу переехать в пятницу. За субботу и воскресенье я обустроюсь в коттедже, а в понедельник смогу приступить. Вы с какой комнаты хотите начать?

Они еще говорили минут десять. Все это время Элизабет удивленно рассматривала Влэда, а потом тот встал, как-то вычурно поклонился сначала матери, потом нарочито гротесково дочери и откланялся, обещая приехать через два дня.

Когда он ушел, Дина вопросительно взглянула на дочь, как бы спрашивая ее мнение. Но Элизабет только округлила глаза и покачала головой:

– Странный какой-то дядечка. Ты видела, он тут чуть не расплакался, да и все эти разговоры о доме, лучах любви... Патетика! Ты вообще его рекомендации проверяла? Может, он... того, поехавший головой?

– А мне показалось, он хороший человек, – не согласилась мать. – Думаю, что он и работать будет хорошо. А то, что он расчувствовался здесь, так что ж... Он одинок, все потерял, вот и не смог сдержаться. Эмоции, конечно, излишние, но его можно понять. Нет, – снова повторила она, – я думаю, нам повезло, он выглядит порядочным, добросовестным человеком. – Дина задумалась, но тут же спохватилась: – Ты лучше расскажи про театр. Это же такая новость. Давай рассказывай.

И Элизабет тут же с горящими, восторженными глазами, сбиваясь и обгоняя себя, принялась подробно за подробностью описывать сегодняшний так удачно прошедший школьный театральный кастинг.

Собственно, с этого дня их жизнь изменилась, но не радикально, а скорее плавно, как и сам ремонт, не вмешивающийся в распорядок их размеренного, налаженного существования. Тот факт, что в доме появился новый человек, тем более мужчина, который хоть и уединенно, но проводил в нем большую часть дня, вносило понятное возбуждение в общую атмосферу прежде обыденной повседневности.

Влэд появлялся в доме в девять часов утра, одет он был скорее как художник, а не маляр, в синий халат чуть ниже колен, в аккуратные брюки и, главное, в берет – да и понятно: шпа-

клевка, побелка оседали на голове, отчего темные волосы там, где они не были прикрыты беретом, тут же седели, и тогда Влэд становился забавным, как какой-нибудь добрый сказочный персонаж.

Элизабет любила забежать в ремонтируемую комнату, садиться на пол, прислонившись спиной к стене, и болтать с Влэдом, пока тот неспешно, плавными ровными движениями что-то отмывал, оттирал, подкрашивал. То ли от этой нарочитой неспешности, то ли от выверенности каждого движения, но в комнате было чисто, да и сам работник выглядел опрятно – на халате, брюках, ботинках не было видно даже пятнышка. Много раз Элизабет загадывала, что вот сейчас на Влэда все же что-нибудь капнет, брызнет, осядет, она даже придумала такую игру, но ничего не капало, не оседало, и выходило, что Элизабет все время проигрывала.

Каждые пятнадцать минут Влэд слезал со стремянки и делал несколько шагов в сторону, тоже неторопливых, и поднимал глаза к только что обработанному участку либо потолка, либо стены. Он мог так стоять несколько минут молча, как бы раздумывая, и со стороны действительно выглядел художником, оценивающим свою работу.

– Вам только мольберта не хватает, – пошутила однажды Элизабет, как всегда сидящая на полу, упираясь согнутыми в коленках ногами в пол, и Влэд кивнул.

– Да вот он, мой мольберт, – указал он на потолок, – только жаль, что я фресок не умею писать. Вообще-то когда-то я учился рисовать, хотя очень давно, я даже балуюсь иногда для собственного удовольствия. – Он постоял, посмотрел на потолок и произнес задумчиво: – Ну так что, может быть, уговорим маму испортить одну комнату и попробуем расписать потолок фресками? – Он снова помолчал, не переставая разглядывать свою работу. – Но только при одном условии...

– При каком? – не выдержала Элизабет его нарочитой неторопливости.

– Мы будем вместе работать над росписью, вдвоем, да еще маму подключим.

– Правда?! – обрадовалась Элизабет, но тут же засомневалась: – А вдруг мама не разрешит? Мы же можем все испортить: и потолок, и всю комнату.

– Вполне можем испортить, – согласился Влэд. – Но можем и не испортить. Вдруг у нас получится красиво? И мы не узнаем, пока не попробуем. Вот и получается, что пробовать всегда правильно. Конечно, надо подготовиться как следует, придумать сюжет, нарисовать эскизы, кальку и прочее, дело-то непростое, но зато сколько удовольствия!

– Ой, можно, я тоже буду придумывать сюжет? – тут же загорелась Элизабет. – У меня есть идея, мы сейчас в театре готовим спектакль по... – Она уже готова была рассказывать, но Влэд ее перебил:

– Конечно, мы будем придумывать вместе. Но все-таки нам надо сначала получить мамино разрешение. Давай вечером, в шесть часов я зайду к маме, ты там тоже будь, и мы начнем ее уговаривать. Глядишь, и уговорим.

Элизабет закивала, потом задумалась, пальчики ее левой руки затеребили выбившуюся из косы прядь.

– А что за имя странное – Влэд? Это что, твое настоящее имя?

Влэд ответил не сразу, только после того, как снова залез по стремянке под потолок.

– Да нет, Влэд – это сокращение. У меня длинное и неудобное имя, здесь, в Америке, его никто выговорить правильно не может, то так исковеркают, то иначе. Вот я и решил его упростить.

– Ну и плохо упростил, – посетовала Элизабет, – мне не нравится, слишком вычурно. Ты же у нас в доме живешь, вот и имя твое должно быть домашним, как, например, мамино – Дина. Или вот меня мама зовет Лизи, тоже по-домашнему получается. А у тебя Влэ-эд... – Она растянула звуки, особенно выставив наружу заносчивое «э». – Что-то слишком торжественное, римское, что-то от императоров, от амфитеатров. А ты на амфитеатр, кстати, совсем не похож. Тебе не идет торжественное, сам посуди.

Влэд оттуда, с верхней ступеньки стремянки, только пожал плечами.

– Ну и как ты хочешь меня называть? – спросил он, проводя ладонью по потолку, как бы проверяя на ощупь, достаточно ли тот гладкий и ровный.

– Не знаю, но как-нибудь мягко, по-домашнему, – повторила Элизабет и задумалась. – Может быть... – сказала она и задумалась снова. – Может быть, Ву-Ву? – предложила она наконец. – Как ты считаешь?

Он усмехнулся оттуда, сверху.

– Почти угадала. Но тогда лучше Во-Ва. Как ты думаешь?

– Не знаю, – пожала плечами Элизабет. – А что, если просто Во?

– Как-то слишком по-китайски, – засмеялся сверху Влэд.

– Ну, а что плохого в Китае? – удивилась Элизабет, а потом добавила: – Ну хорошо, так и быть, я к одному китайскому Во добавлю другое китайское Во. Теперь ты будешь Во-Во, ладно?

– Тогда я тебя буду звать так же, как и мама, просто Лизи, – предложил Во-Во, тщательно вытирая руки белой тряпкой. – Хотя нет, я тебя буду звать Лизонька, как тебе? По-моему, хорошо звучит.

– Непривычно, конечно, но хорошо, – легко согласилась Лизи. – Так значит, вечером мы будем маму уговаривать, ну, насчет рисунков на потолке, этих, как они называются...

– Фрески, – напомнил Во-Во, и Лизи закивала, соглашаясь.

– Ну да, фрески.

Дину они уговаривали недолго. Да она и не была против, скорее наоборот, ей нравилось, что девочка будет занята чем-то интересным, даже творческим, да еще дома – такой семейный совместный проект. Ее только интересовало: не повредит ли он самому ремонту, не затянется ли его? Но Влэд заверил, что фресками он будет заниматься только вечером, после окончания рабочего дня.

Потом они выбирали комнату и решили начать с самой дальней – хотя бы будет не обидно за испорченный потолок, если роспись не получится.

– Но ведь Во-Во сказал, что он сможет все исправить, закрасить, и ничего видно не будет, – заметила Лизи.

– Во-Во? – подняла на нее глаза мать. – Это кто? Не вы ли, Влэд?

Тот только пожал плечами.

– Ну да, мама, – снова вмешалась Лизи. – А кто же еще? Посмотри на него, какой он Влэд? Конечно, он Во-Во, или Ву-Ву, или просто Во. Наш старый китайский друг Во. – И она засмеялась.

Дина посмотрела на Влэда с деланным осуждением.

– Вы ей разрешаете так вас называть, Влэд? – спросила она, но тот лишь улыбнулся:

– Конечно, хорошее имя, мне самому нравится.

Оказалось, что расписывать потолок – дело сложное и трудоемкое. Сначала они вдвоем, Влэд и Элизабет, долго рылись в библиотеке, пытаясь найти книги по технике росписи, но в библиотеке таковых не оказалось. Тогда они просмотрели целую кипу каталогов и выискали все же толстенный фолиант, который оказался практическим руководством для профессиональных художников. Но так как выбора не было никакого, пришлось заказать его. Книга должна была прийти только через две недели, а пока они вдвоем стали придумывать сюжет для фрески – что на ней изображать, как, в какой манере, ну и прочие технические детали.

Каждый вечер они собирались на кухне. Влэд уже был умыт после рабочего дня, он успевал переодеться, приносил с собой листы бумаги и карандаши, они садились за стол и начинали фантазировать.

Элизабет, как и полагается подростку, часто горячилась, идеи рождались в ее голове безостановочно, она дергала Во-Во за рукав, заглядывала ему в глаза, пытаясь выразить в неловких и неумелых словах то сумбурное, что громоздилось в ее воображении.

Тот внимательно выслушивал и пытался навести хоть какой-то порядок в нагромождении слов. Порой он бросал быстрый многозначительный взгляд на Дину и понимающе, немного снисходительно улыбался, мол, игра и есть игра и мы, взрослые, участвуем в ней только ради ребенка. Впрочем, он сам часто увлекался, перебивал Элизабет на полуслове, начинал спорить эмоционально, возбужденно. Когда же решение в результате находилось, они оба выглядели счастливыми, что умиляло Дину, которая, находясь рядом, мало вмешивалась, лишь улыбалась, наблюдая за увлеченными девочкой и взрослым мужчиной.

В результате после долгих дискуссий, после того, как были изучены десятки альбомов с репродукциями, решено было использовать классический сюжет о трех грациях, две из которых определились быстро и легко – Дина и Элизабет, а вот насчет третьей возникли споры.

Элизабет настаивала, чтобы третьей грацией стал сам Во-Во, ее безудержно веселила сама идея изобразить немолодого, коренастого мужчину в позе грации. Она просто умирала от хохота, пытаясь выразить словами комичность образа, как Во-Во будет выглядеть в полупрозрачной, воздушной тунике, но слов не доставало, и Элизабет хваталась за карандаш, пытаясь рисовать.

Во-во сопротивлялся, говорил, что даже в качестве юмористического сюжета не подходит для грации. Да и потом, изобразить комичность с технической точки зрения, особенно для них, не умеющих хорошо рисовать, абсолютно непосильная задача. Дина поддерживала его, ее вообще смущала некоторая фривольность сюжета, так как на всех изученных ими классических картинах тела граций просвечивали сквозь тонкую ткань.

Вообще просмотр альбомов с репродукциями картин старых мастеров, где человеческое тело демонстрировалось достаточно откровенно, создавал определенную неловкость, во всяком случае, для Дины. Она чувствовала, как некое напряжение растворялось в воздухе вечерней кухни и сгущалось в нем, сублимируясь в почти материально осязаемое наэлектризованное поле. «Может быть, только я одна его ощущаю?» – спрашивала себя Дина.

Она вглядывалась в лицо дочери, в лицо Влэда и пыталась найти в них если не ответ, то хотя бы намек, но те беззаботно болтали, смеялись, перебивая друг друга, увлеченно рассматривая что-то на испещренных набросками листах.

Все же Дина предложила другой, более нейтральный сюжет, известный как «Яблоко раздора», когда три богини предстают перед Парисом с просьбой выбрать самую красивую из них. В ответ Элизабет тут же обозвала мать ханжой и еще долго бросала на нее гневные, возмущенные взгляды.

В итоге решено было пойти на компромисс – трех богинь изобразить в виде граций. Во-Во же должен был предстать в качестве самого Париса, хотя Во-Во – Парис не казался Элизабет таким же забавным, как Во-Во – грация.

Впрочем, Элизабет тут же решила, что Афродитой, богиней красоты, будет именно она, а пастушок Парис вместо накидки из овечьей шерсти будет облачен в рабочий халат Во-Во и опираться будет не на традиционный пастуший посох, а на длинную малярную кисть.

– А вместо яблока, – тут же подхватил Во-Во, – богини будут протягивать Парису теннисный мячик. Так мы картину и назовем: «Теннисный мячик раздора».

– Почему теннисный мячик? – не поняла Элизабет.

– Ну не яблоко же, – пожал тот плечами, а потом добавил: – Да и вообще теннис – чудесная игра.

– Вы, Влэд, играете в теннис? – удивилась Дина.

– Да, когда-то играл, – ответил Влэд и тут же почему-то вздохнул. – Не могу сказать, что хорошо, но для любителя вполне прилично. Даже юношей в каких-то соревнованиях участвовал. Впрочем, я уже сам не уверен, было ли это, так давно.... – И он сбился, и замолчал, и снова вздохнул, как будто выпуская из себя тяжесть прошлого.

Дина попыталась заглянуть ему в глаза, чтобы отыскать в их глубине боль и потери и сравнить их со своими потерями и болью, но ей не удалось – Влэд опустил глаза к столу, к иллюстрированным альбомам, к красочным репродукциям.

А вот Элизабет ничего не хотела замечать, да и не могла.

– Правда?! – вскрикнула она и схватила Во-во за рукав. – Я тоже играла несколько раз, всего несколько, и у меня получалось лучше, чем у других. И вообще, я так хочу научиться хорошо играть в теннис. Ты меня поучишь? Ну пожалуйста, ну Во-Во, прошу тебя, ну что тебе стоит, – принялась притворно канючить Элизабет, артистично подражая интонациям маленькой капризной девочки. Она наморщила носик, собрала лобик в складки, наполнила мольбой глаза – точь-в-точь готовый расплакаться ребенок.

– Лизи, Лизи, – со смехом одернула ее Дина, – у мистера Влэда и так не остается свободного времени, ему наверняка не до уроков тенниса. Если бы я знала, что ты хочешь играть в теннис, я бы наняла для тебя инструктора.

– Но мама, – маленький ребенок в исполнении Элизабет закапризничал еще сильнее, – я не хочу инструктора. Я хочу, чтобы меня учил Во-Во. Правда, Во, ты будешь меня учить?

– Конечно, если мама не возражает, я с удовольствием. Вот только где нам взять время? Вечера у нас заняты картиной, остаются только субботы и воскресенья. Вы как, Дина, не против?

– Да нет, – ответила та. – Если вам не жалко собственного времени, я буду только рада, если девочка научится играть в теннис.

Постепенно жизнь дома Бреманов вошла в налаженный ритм, и выяснилось, что дни Элизабет полностью заполнены – утром и днем школа, потом дополнительные занятия в школьном театре. Домой она возвращалась усталая и голодная, но не умея, как любой подросток, отдыхать, находила отдых скорее в смене деятельности и впечатлений: наскоро перехватив что-нибудь на кухне – тарелку с хлопьями или сандвич с ореховым маслом, бежала в комнату, где работал Во-Во. Там она садилась по привычке прямо на пол, прислонясь спиной к стене, и они начинали болтать.

Элизабет рассказывала о прошедшем школьном дне и, конечно, о театральной репетиции, а потом расспрашивала Во-Во о его жизни, особенно о той прошлой, европейской части, которая представлялась ей особенно загадочной, даже таинственной.

Во-Во отвечал неторопливо, не переставая орудовать кистями, шпателями, валиками, какими-то другими странными на вид приспособлениями. Казалось, что неспешные слова только помогают неспешным рукам, и наоборот – руки помогают словам, что и те и другие выполняют разные части единой работы.

Элизабет никогда не могла разобраться, что в историях Во-Во правда, а что выдумка, хотя она не сомневалась, что выдумка присутствовала, особенно если судить по выражению лица Во-Во – его глаза сразу сужались и наполнялись лукавством, губы, как всегда, растягивались в улыбку, но не в усталую, извиняющуюся, к какой привыкла Элизабет, а наоборот, в ироническую, подразумевающую вымысел. Они как бы говорили: мое дело рассказать историю, а вот решить, что в ней тебе по вкусу, – уже твое дело.

Оказывается, Во-Во участвовал в экспедиции на Северный полюс и охотился на белых медведей и даже вел дневники экспедиции, но их сейчас нет, они остались в Европе, в тайном месте, и когда он поедет туда, он их обязательно привезет и даст почитать.

А еще он был альпинистом и в Альпах карабкался по скалам и забирался на самые высокие горы. Однажды, когда он лез по отвесной скале, началась ужасная метель – там, наверху, высоко в горах, это обычное дело, вскоре наступила ночь, и ему пришлось ночевать прямо над пропастью, болтаясь на веревке. Утром метель закончилась, и друзья вытащили Во-Во наверх.

Когда рабочий день заканчивался, Во-Во уходил к себе, в свой коттедж, но через час-полтора возвращался уже умытый, причесанный, аккуратно одетый. Тогда они все вместе усаживались в столовой за накрытым столом, где во время обеда разговор продолжался в том же русле – Дина и Элизабет расспрашивали Во-Во о его прошлой жизни, а тот продолжал рассказывать свои небывалые истории.

У него был приятель в Европе, мошенник, в общем-то, настоящий криминальный тип. Нет, он никого не убивал, просто оказывал богатым людям всякие хитрые услуги и за это получал много денег.

Например, один его клиент захотел избавиться от жены. Дело было в Германии, еще перед войной, и жену он ужасно не любил, у него даже наступали приступы астмы по ночам.

Разводиться было хлопотно, к тому же он не хотел делить солидное имущество, вот он и нанял приятеля Во-Во, чтобы тот помог ему избавиться от супруги. И тот разработал следующий план.

Клиент открыл гостиницу, которую по разным техническим и налоговым причинам записал на жену. Та, конечно, не возражала, ничего плохого в том, что бизнес принадлежит ей, она не видела. Хотя к ведению дела не имела никакого отношения, не понимая в нем ничего и не вмешиваясь в него совершенно. Она вообще была большая модница, любила кафе и выезды на природу, ухаживания галантных кавалеров и не смогла бы понять разницу между сальдо и бульд, даже если бы и хотела.

Муж же с помощью товарища Во-Во стал использовать гостиницу в различных сомнительных целях – размещал в ней нелегальных эмигрантов из зараженной революцией Российской империи, сомнительных девушек, занимающихся сомнительными делами (здесь у Элизабет возник вопрос, но она перебивать рассказчика не решилась).

В итоге подозрительной гостиницей заинтересовалась полиция и в одну прекрасную ночь ворвалась в нее с шумом, визгами, фотовспышками – в общем, все, как полагается.

Правда, предусмотрительный супруг с помощью друга Во-Во за неделю до облавы выехал в Швейцарию, где у него как раз оказались неотложные дела. Там, в Цюрихе, а может, в Женеве, на берегу симпатичного озера он и задержался сверх необходимого.

А вот его супружница никуда не выезжала, да и зачем? Ей и в Берлине было хорошо – кафе, ухажеры, магазины – много ли, в конце концов, надо симпатичной, не сильно обремененной замужеством женщине. Но тут выяснилось, что она еще и владелица ужасного притона, во всяком случае, с точки зрения настырной полиции, которая тут же по ее душу и явилась. Женщина так и не сумела понять, в чем ее вина, она вообще во всем подобном плохо разбиралась, но и оглянуться не успела, как оказалась за решеткой. Ей, конечно же, следовало нанять адвоката, но на адвоката требуются деньги, которых, как неожиданно выяснилось, ни в банке, ни в разных укромных загонах совсем не оказалось. Пришлось довольствоваться государственным адвокатом, к которому, как все знают, можно и не обращаться – ровным счетом никакой пользы. Так она в тюрьме и осталась, и даже, видимо, прижилась там, как сумела.

А вот ее муженек прижился совсем к иным условиям, не требующим жесткого тюремного распорядка – ни подъема по сигналу, ни коллективных каш с похлебками, ни таких же коллективных душевых. Нет, его жизнь была устроена исключительно индивидуально с максимальным удобством.

А приятель Во-Во сначала совсем неплохо заработал, а затем, заливаясь от смеха, рассказал о проделанной комбинации самому Во-Во.



Элизабет слушала с раскрытыми глазами, не зная, верить или нет. Ей вообще многое было непонятно: почему муж хочет отделаться от жены? Как можно невинную женщину посадить в тюрьму? Да и вообще, кто может быть настолько коварен, чтобы заранее все спланировать, продумать и выполнить?

И все же что-то непонятым образом возбуждало ее в рассказе – может быть, именно коварство и запланированность, с которыми ей самой никогда не приходилось сталкиваться, а может быть, неясная мысль, что, оказывается, жизнь не однозначна, что в ней существует много разных пластов. И тот факт, что время добираться до них скоро придет, а возможно, уже пришло, вызывало у Элизабет не до конца осознанное волнение.

– Не может быть! – воскликнула она. – Ты все выдумал, так не бывает.

Во-Во внимательно взгляделся в нее, как бы рассматривая каждую деталь по частям – разгоряченные, с ярким румянцем щеки, прядь волос, сбившуюся на глаза, движение руки, безуспешно пытающееся эту прядь приструнить.

– Почему не может быть? – Он растянул свои узкие, кривоватые губы. – Конечно, может. Еще как может.

– Ну, и чем дело закончилось? – не стала спорить Элизабет.

– Ничем. Одинокий муж вернулся в Берлин, где и прожил счастливо несколько лет. Больше не удалось. Не потому, что закончился срок отсидки супруги, а потому, что к власти пришли нацисты и он вскоре сгинул в одном из так называемых «трудовых» лагерей. Впрочем, совсем не из-за этой аферы, а абсолютно по другой причине. – Во-Во выдержал паузу и продолжил: – Что приводит к одному существенному выводу...

– ...что не надо было строить козни своей жене, – предположила за рассказчика Элизабет.

– Отнюдь нет, – возразил тот. – Что не надо было возвращаться в Берлин. Сидел бы в Швейцарии – так наслаждался бы жизнью до сих пор.

– Грустный конец. Если только вы не придумали всю историю с самого начала, – произнесла Дина задумчиво.

Элизабет взглянула на мать. Та сидела, откинувшись на спинку стула, и тихо, будто в такт какой-то только ей различимой мелодии, покачивала головой. И при этом неотрывно смотрела на Во-Во. Но взгляд ее был так же рассеян и неопределен, как и голос, он будто расплывался по всему пространству комнаты, по воздуху, ее наполняющему.

Тогда Элизабет почувствовала нечто неопределенное, расплывчатое, словно что-то живое пронеслось по комнате. Какая-то волна. Плотная, напряженная. Она взвинтила до предела сразу повлажневший воздух, а потом, видимо, через кожные поры, видимо, расширив их, проникла внутрь самой Элизабет. И из плавной, воздушной внезапно преобразилась в тяжелую кровавую волну, которая по венам стремительно взлетела вверх, прихватив остатки дыхания, наполняя цветом щеки, шею, даже лоб, даже руки. Элизабет стало сразу жарко, она даже задержала очередной вдох, чтобы тот не получился слишком шумным, заметным. А еще защекотало в животе, не внутри, а на самой поверхности, да так остро, что ей пришлось положить ладонь, чтобы сдержать волнение, пока то постепенно не стихло.

Впрочем, никто ничего не заметил. Во-Во продолжал улыбаться своей растянутой узкогубой улыбкой, отчего его глаза тоже сузились: они скользнули по Дине, пытаясь нащупать ее расплывчатый взгляд. Но только скользнули едва-едва и, сузившись еще больше, скакнули в сторону.

– Вы все выдумали, Влэд, – повторила Дина, имея в виду только что рассказанную историю. – Вы наверняка все выдумали, сознайтесь, ведь я права?

– Как знать, как знать, – проговорил Влэд, неопределенно покачивая головой, и тут же повернулся к Элизабет: – Ну что, Лизи, завтра суббота. Пойдем на корт к десяти часам, чтобы успеть поиграть до жары?

– А давай пораныше, – предложила Элизабет, которая всю неделю ждала урока тенниса. – А то опять будет, как в прошлый раз, когда ты к двенадцати устал и больше не хотел играть.

– Да нет, – не согласился Во-Во, – два часа вполне достаточно. Надо, чтобы игра была в радость.

– Мне в радость, – заверила Элизабет.

– Я знаю, – согласился Во-Во. – Если ты захочешь, мы сможем поиграть еще и в воскресенье.

– Ну давай в девять. Ну пожалуйста!.. – Элизабет сморщила лобик, округлила глаза, придав своему личику умоляющее выражение.

– Лизи, – пришлось вмешаться матери, – мистер Влэд устает в течение недели. Он ведь много работает, и наверняка ему в субботу хочется выспаться. Не настаивай, ведь ты...

– Что вы, Дина, – прервал ее Влэд, – я привык подниматься рано, мы можем начать и в девять, если ты, Лизи, так хочешь.

– Ну вот, видишь, ты такая приставучая, что мистер Влэд не может тебе отказать. – И Дина, хоть и пыталась говорить наставительно, но тоже не смогла сдержать улыбки. – А теперь, пожалуйста, мыться и спать, юная леди.

– Но, мама, – заканючила Элизабет, – ну, я еще посижу, можно?

– Нет, золотко, – Дине пришлось добавить в голос твердости, – умыться и в кровать.

– Но, мама, вы же еще сидите. Вы же не идете спать, – снова закапризничала Дина, чувствуя живую, подступающую к горлу обиду – вот сейчас она пойдет спать и пропустит... что-то очень важное, какой-то недоступный для нее секрет.

– Лизи, – вмешался Во-Во, – если ты завтра хочешь играть в теннис, тебе надо выспаться.

– Знаете что, – поддержала его Дина, – я поеду завтра вместе с вами. Посмотрю, чему ты, девочка, там научилась за два месяца. – И она погладила дочь по голове. – А теперь, милая, иди спать.

– Ты вправду поедешь? – удивилась Элизабет, поднимаясь со стула.

– Конечно, детка, – ответила ей Дина с улыбкой. – Сладких тебе снов.

– Спокойной ночи, мама. – Элизабет подошла и, как всегда перед сном, обняв Дину за шею, поцеловала ее в щеку. И, дождавшись ответного поцелуя, повернулась к Во-Во: – Спокойной ночи, Во-Во. – Она заколебалась на мгновение, сделала один-два неуверенных шага в его сторону, а потом, как будто мгновенно отбросив сомнения, рванулась к нему и быстро, на одном-единственном импульсе, прильнула к жесткой, шершавой щеке и поцеловала. А потом замерла, ожидая ответного поцелуя. Во-Во поднял глаза над склонившейся головкой, посмотрел вопросительно на Дину и, получив в ответ лишь мягкую улыбку, чмокнул девочку куда-то в макушку.

– Приятной ночи. До утра, – произнес Во-Во и снова посмотрел на Дину.

– Приятной ночи, – повторила Элизабет и, выскочив из комнаты, застучала легкими ножками по ступенькам лестницы, ведущей на второй этаж в ее спальню.

Что же произошло, почему Элизабет поцеловала Во-Во? Была ли это обыкновенная детская непосредственность или просто накопившаяся потребность в мужской заботе, которую обычно ребенок получает от отца? Или все же провокация зарождающейся женщины, желание хоть вскользь, но стать причастной к тайне взрослых, к тайне, которую она ощутила сегодня в первый раз? Элизабет не знала, она лишь чувствовала себя довольной, умиротворенной и засыпала со счастливой улыбкой.

На следующий день утром, слишком, может быть, ранним утром для субботнего дня, они все втроем сели в Динин «Додж» и отправились на теннисный корт, до которого и пешком-то было не более двадцати минут. Дина сидела за рулем, Во-Во рядом, на пассажирском сиденье,

и только Элизабет, которая хотела поначалу примоститься там же, поймав недовольный взгляд матери, уселась сзади.

Первые двадцать минут заняла разминка, несколько кругов медленного бега вокруг корта. Потом бег с короткими ускорениями. Потом боком, подпрыгивая. Дина сидела на скамейке рядом, смотрела, слушала, улыбалась дочери, подбадривая.

– Приставной шажок, Лизи, – не переставал повторять Влэд, прыгая вместе с девочкой вдоль бровки. Он был в холщовых спортивных брюках, белой рубашке с отложным воротом и длинными рукавами, в спортивных туфлях. В отличие от него Элизабет была одета в коротенькие, обтягивающие шорты, майка на узких бретельках открывала не только руки, но и плечи.

– Легче, Лизи, легче... будто ты танцуешь... ножки, как в танце... и тело взлетает вверх... – говорил Влэд отрывисто, переводя дыхание после каждой короткой фразы, сам пытаясь двигаться быстро и легко.

Потом они заняли место на корте, Элизабет отошла на заднюю линию, Влэд, наоборот, подошел к самой сетке. Рядом с собой он поставил ведерко, наполненное теннисными мячиками. «Откуда у него столько мячиков?» – удивилась Дина.

– Давай Лизонька, ножки пошли! – крикнул Влэд. – Тренируем форхенд.

И Дина увидела, как задвигались, будто в мелком ритмичном танце, ноги дочери, как сразу серьезно стало ее личико, как оно исполнилось упрямой решимостью.

Полетел первый мячик, за ним сразу второй, потом, без промедления, третий.

– Легче, Лизи, легче! – покрикивал на девочку Влэд. – Не контролируй тело, оно само знает, что делает, доверяй своим ножкам, подходи к мячику. Смотри, этот чуть короче, иди на него, а следующий длиннее. Подлетаешь, подлетаешь к нему.

Элизабет слушала своего наставника. Ее ножки порхали по поверхности корта, ракетка мелькала в воздухе, но Влэд продолжал прикрикивать, и мячики летели все быстрее и быстрее.

– Давай, малыш, ракетка вверх, как флажок. А теперь пошли ноги, и ракетка падает, плечо вперед, разверни, покажи мне свою спинку. И снизу вверх, всем телом, с поворотом ног, вверх, добавь кистью вращение и не останавливай руки. Рука идет за спину, за плечо. Сразу назад, ножки не стоят, двигаются, танцуют, а теперь приставным шагом в исходную позицию.

Мячики продолжали лететь, Элизабет билась их, разворачивая плечи, вкладывая в удар все свое стремительное гибкое тело. Дина загляделась на дочь. Она и не предполагала, что в ней столько упорства, страсти. Конечно, страсти, достаточно только посмотреть на искривленный напряжением рот Элизабет, на закусенную нижнюю губу, на то, как она отдает всю себя каждому удару, забыв о матери, о Влэде, вообще обо всем окружающем, расслабленном в дремоте субботнего утра мире.

А еще Дина подумала, что она, оказывается, многого не знает про свою дочь. Она, мать, родила, воспитала ее, а вот не поняла, не раскрыла до конца. А чужой человек, всего пару месяцев назад появившийся в их жизни, взял и легко выявил характер девочки.

Дине стало немного обидно, но вместе с тем она не могла оторвать от дочери взгляда, не могла не любоваться ею, ее легкими стремительными движениями, тем, как она вся отдалась игре.

– А теперь бэкхенд, – перевел Влэд полет мячиков под удар слева. – Больше разворачивайся, спину, спину мне покажи... и... удар. Вверх, вверх руки, за спину, левая нога вперед. И сразу назад, поскакала. Приставным. А теперь... – не умолкал Влэд, продолжая посылать стремительные мячи.

Дина перевела взгляд на него. В нем она тоже открыла что-то новое, чего не видела прежде. Окрепший, с командными нотками голос – куда делась мягкость и усталая медлительность? А движения рук – они были по-прежнему плавные, размеренные, но теперь в них присутствовала твердость. Дина постаралась заглянуть Влэду в глаза. Она сидела далеко, но ей показалось, что из них исчезло постоянное жалкое, виноватое выражение, к которому она

уже успела привыкнуть. Вместо него появились внимание, концентрация, даже уверенность. «Неужели он может быть уверенным в себе?» – подумала Дина в изумлении.

Двигался он, конечно, не так легко, как Лизи, но ноги его без труда скользили, безошибочно находя нужное место на корте, мячик еще только подлетал, а Влэд уже подстраивался под удар.

«Видимо, – подумала Дина, – жизнь ему досталась тяжелая. Видимо, он, как и я, многое пережил и выстрадал, многое потерял, если его так поломало со временем. И все же он не потерял себя, он наверняка сможет возродиться из пепла, особенно если ощутит опору, поддержку близкого человека».

Минут через двадцать, когда Элизабет устала и кожа ее стала влажной и заблестела на ярком солнце, Влэд объявил перерыв. Они подошли к скамейке. Дина смотрела, как Лизи, сдерживая тяжелое, воспаленное дыхание, глотает воду из бутылки, как обтирает себя полотенцем, как рассеянно глядит по сторонам, не замечая ничего вокруг.

– У вас очень способная дочь. У нее хорошие ноги и быстрые руки, из нее могла бы получиться хорошая теннисистка. Ей, конечно, надо еще много тренироваться и работать над техникой, но кто знает, возможно, в будущем она могла бы играть на самом высоком уровне.

– Да бог с ним, с теннисом. – Дина прикрыла глаза ладонью, как козырьком. – Вы лучше скажите: откуда у вас силы на все берутся? Вы так эмоционально отдаетесь игре, будто у вас открывается второе дыхание.

– Знаете, – Влэд сел на скамейку, но чуть поодаль от Дины, – в моей жизни появился смысл. Раньше никакого смысла не было, а сейчас вот появился.

Дина повернула голову, заглянула Влэду в лицо. Глаза его снова наполнились тяжелой, щемящей влагой, про такие говорят «глубокие», когда чувство из глубины, перемешавшись с частичками души, выплескивается наружу. Вот только у Влэда оно было несчастным, жалким, ищущим сочувствия. «Как легко может меняться этот человек», – подумала про себя Дина.

После перерыва Дина, сославшись на дела, уехала, а Элизабет и Влэд продолжили тренировку. Теперь они стали использовать весь корт – сначала перебрасывая мяч кроссом, справа направо, потом обратным кроссом. Вскоре задача была усложнена, и Элизабет должна была три раза подряд бить кроссом, а четвертым ударом посылать мяч по линии. У нее не всегда получалось, не так просто изменить угол удара, особенно когда мяч летит быстро.

Если мяч улетал в аут, Элизабет расстраивалась и демонстративно поворачивалась спиной к Во-Во, будто это он виноват в ее ошибке, но перед следующим розыгрышем она снова собиралась, пытаясь послать мяч точно и сильно, так, чтобы ее соперник не успел достать его. Во-Во вытягивался, почти стелился над поверхностью корта, пытаясь дотянуться до ускользающего мяча, но ракетка лишь ловила и пропускала через струны пустой воздух, и тогда Элизабет сжимала кулачок и, потрясая им в напряжении, громко выкрикивала короткое и жесткое «Yes!».

Так они играли еще минут двадцать, а потом, когда дыхание девочки стало сбиваться и кожа снова заблестела мельчайшими крупинками пота, они подошли к скамейке, и Элизабет долго, протяжно, смакуя каждый глоток, глотала воду из бутылки, затем обтирала себя насухо полотенцем – руки, плечи, лицо, ноги, – неспешно, основательно. А Во-Во стоял поодаль и не мог оторвать от нее взгляда.

Элизабет, без сомнения, знала, что ее гибкое, легкое тело – настолько легкое, что казалось, оно сделано из воздуха, дышит им, впитывает его, – не может не приковывать внимания. Она не раз ловила на себе пристальные мужские взгляды – в них читалось чувство, пусть оно пока оставалось непонятым, нерасшифрованным. Да она и не пыталась разобраться в нем,

главное, что это чувство, иногда ломкое, зависимое, иногда восторженное, что-то шевелило внутри Элизабет, переворачивало, отчего ей становилось как-то необычайно приятно.

Вот и сейчас, заметив взгляд Во-Во, она так и не поняла, что стоит за ним – наверное, восторг, даже любовь, даже обожание. Скорее всего обожание отца, любующегося своей выросшей дочерью и вдруг неожиданно связавшего ее молодость, красоту с собой, со своей собственной жизнью и молодостью. Ведь возможно, что Во-Во, который когда-то давно потерял дом, близких и вдруг, пусть и не в полной мере, пусть частично, обрел их снова, всю свою так долго копившуюся, не имеющуюся выхода любовь направил на этого хрупкого, грациозного подростка.

– Знаешь, чем хорош теннис? – спросил Во-Во, когда они сели передохнуть на скамейку, и, не дожидаясь ответа, добавил: – Потому что теннис – единственный игровой вид спорта, когда соперники сходятся один на один. Существуют еще шахматы, конечно, но в этом смысле шахматы и теннис схожи.

– Ну и что? – спросила Элизабет, которая не совсем понимала, к чему он клонит.

– Да потому что, когда играешь один на один и кто-то должен выиграть, а второй проиграть, тогда борьба развивается совсем по иным законам. Техника, мастерство, конечно, важны, но исход игры часто определяет характер – уверенность, злость, желание победить. Знаешь, именно твоя уверенность может зародить неуверенность в сопернике. И получается, что, помимо соревнования, в мастерстве теннис – это прежде всего борьба характеров. Побеждает не тот, кто лучше играет, а тот, у кого сильнее характер.

Они помолчали, Элизабет еще пару раз глотнула из бутылки.

– Ну что, – сказал Во-Во через несколько минут, – сыграем теперь настоящую игру. Один сет. У тебя силы есть еще?

– Конечно, – кивнула Элизабет и как бы в подтверждение своих слов легким прыжком соскочила со скамейки. – Ты подаешь первый, Во-Во! – крикнула она и, согнув спинку, мягко пружиня на ножках, приготовилась принимать подачу.

Во-Во подал несильно, мяч отскочил недалеко от линии, но пританцовывающие ножки Элизабет успели к нему, и мягким слайсом она направила мяч на противоположную часть корта. Но Во-Во оказался именно там, где опустился мяч, и кроссом перевел его под ее бэкхенд. И тут вместо того, чтобы ответить обратным кроссом, Лизи незаметным движением выполнила дроп-шот – короткую подрезку, и мяч, перелетев через сетку, шлепнулся прямо за ней. Во-Во рванулся было вперед, но, понимая, что ему не успеть, остановился, не пробежав и трети расстояния.

– Умничка, Лизонька! – крикнул он. – Ты замечательно видишь корт. А еще ты быстро думаешь и принимаешь решения. Умничка. Старайся постоянно менять темп игры, ставь противника в тупик, как меня сейчас.

Они поиграли еще немного, и каждому удачному розыгрышу Лизи Во-Во радовался больше своей соперницы. Конечно, она видела, как он восхищается ею – ее грацией, ее легкостью, ее молодостью, – как его кривоватая узкая улыбка, обычно напряженная и вымученная, расслабилась, как восторженно блестят его глаза, впитывая каждое ее движение, каждый шаг быстрых ножек, каждый поворот округлого плечика, каждый взмах оголенной руки.

Элизабет все видела, ей нравилось вызывать у него восторг, и она еще быстрее двигалась по корту, порхала по нему бабочкой, безжалостно нарезая удары. И от каждого успеха, от каждой выигранной подачи ее собственное возбуждение нарастало тоже, даже не возбуждение, а азарт, кураж, чувство счастливой удачи.

Вот она, подбежав к короткому мячу, пустила его по диагонали, навyleт, и когда беспомощный Во-Во оказался рядом, Элизабет, сама не зная зачем, просто от распирающего ее восторга протянула свою гибкую руку и, обвинив оторопевшего соперника за шею, притянула к

себе, так что только сетка еще как-то разделяла их, и чмокнула звучно куда-то, не разбирая, не то в щеку, не то ближе к шее. И, тут же отпустив его, отбежав назад, она, заливаясь смехом, с лукавыми, полными счастья глазами, крикнула ему что-то задорное, дерзкое, что-то про его медлительность, и еще, что он никогда не сможет выиграть у нее. Вообще никогда.

– А ведь скоро я стану еще быстрее. А ты только будешь стареть, – смеялась она.

А он стоял, ошалевший, ошарашенный то ли неожиданным, порывистым поцелуем, то ли ее игривостью, и все смотрел на счастливое, полное восторга девичье лицо.

Но счастливое состояние гармонии, как известно, хрупкое состояние и, увы, не может длиться долго. Вот и для Элизабет оно вскоре закончилось.

Была очередная суббота, и они с Во-Во, как всегда, играли в теннис. Они провели на корте минут тридцать, когда двое ребят лет восемнадцати с ракетками и мячиками зашли на корт и сели, раскинувшись на скамейке. Под их ироничными взглядами с репликами, прерывающимися нарочито громким, не скрывающим двусмысленности смехом, Элизабет сразу же сникла. Ее задор улетучился, тело стало непослушным, ноги утратили легкость, каждое движение давалось с усилием, и она не успевала к мячам, мазала удары, отчего со скамейки летел еще более издевательский смех.

После очередного удара, когда мячик вяло и неуверенно застрял в сетке и Элизабет почти что в слезах, обессиленно ссутулившись, пошла назад к линии, Во-Во, подойдя к скамейке, попросил ребят вести себя потише.

– Мы еще будем играть полчаса, – сказал он. – А вы нам мешаете, вы ведь сами понимаете...

Но те не дослушали.

– Полчаса?! – вскрикнул один из них с наигранным возмущением. – Ты чего, мужик, с катушек, что ли, слетел? – И он обратился к своему товарищу, который тоже возмущался и тоже размахивал руками: – Ты посмотри, Том, он хочет, чтобы мы ждали еще полчаса. Как тебе это нравится? – А потом опять в сторону Во-Во: – Ты вот что, мужик, ты давай заканчивай, минуты три-четыре мы еще подождем, а потом забирай свою сладкую дочурку и сматывайся.

Элизабет, услышав перепалку, вернулась назад к сетке и, скрестив руки на груди, переводила взгляд с ребят на Во-Во. Она слышала, как изменился голос Во-Во, как неожиданно вдруг проступил сильный, почти незаметный прежде акцент, неловкий, с заостренным, потерявшим плавность, режущим «р».

– Позвольте узнать, на каком основании вы требуете, чтобы мы освободили корт? Вы только что пришли и по всем правилам должны ждать один час, пока мы не закончим игру. Причем ждать не здесь, а вон там. – Во-Во указал на лужайку за пределами площадки. Он вообще говорил медленно, с трудом подбирая слова, будто хотел справиться с волнением, будто делал над собой усилие.

– Да потому что... – засмеялись ребята, в их смехе было больше издевки, чем веселья, – ...ты со своей дочуркой играть не умеешь совершенно. И незачем вам попусту занимать корт. Особенно когда мастера пришли, – добавил один из них и посмотрел на товарища, и теперь они вдвоем просто покатались от смеха. – Давайте, три удара – и валите отсюда, – проговорил он сквозь смех.

– Даже если вы играете лучше нас, – возразил Во-Во, делая упор на каждом слове, – это не дает вам права выгонять нас с корта. Невзирая на уровень игры...

– Слушай, – прервал его парень, – потренируйтесь сначала у стенки, потом приходите играть на корт. Хотя нет, – возразил он самому себе, – вам и стенка не поможет, вы сами...

– А с чего вы взяли, что вы лучше играете? – вмешалась Элизабет. – Я, например, в этом не уверена. Мне вообще кажется, что мы выиграем у вас вчистую.

Ее запальчивость насмешила парней еще сильнее.

– Хорошо, – сказал один из них, успокоившись, – давайте сыграем одну коротенькую игру. Кто выиграет, тот и останется на корте. Но только быстренько, нам неохота терять время.

– Ты как? – повернулся Во-Во к Элизабет.

– Да я с удовольствием. – Похоже, к ней снова возвращалась уверенность. Пока ребята вставали со скамейки, крутили руками, разминая суставы, Во-Во подошел к Элизабет.

– Они, возможно, неплохо играют, – сказал он ей. – Я тебя только об одном прошу, Лизи: если мы проиграем, ты не расстраивайся.

– Ну, это мы еще посмотрим, – упрямо пожала плечами Элизабет.

– Конечно, мы поборемся, – согласился Во-Во. – Но ты не расстроишься, обещаешь?

– Не расстроюсь, – снова пожала плечами Элизабет и заняла свое место на задней линии. – Ну что?! – крикнула она ребятам, которые, похоже, уже тоже были готовы к игре. – Давайте посмотрим, правда ли все, что вы нам тут напели. Про мастерство и прочее.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.